

②

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАННА
М. ГОРЬКИМ

МАЛАЯ СЕРИЯ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

ЛЕНИНГРАД
1952

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

советский
писатель

*Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Б. М. Эйхенбаума*



Я. П. ПОЛОНСКИЙ

1

Первое стихотворение Якова Петровича Полонского явилось в печати в 1840 году, еще при жизни Лермонтова; последнее, предсмертное, было напечатано в 1898 году, когда восемнадцатилетний Александр Блок уже писал свои первые стихи. Полонский принадлежал к тому полесупушкинскому литературному поколению, которому суждено было совершить долгий и трудный путь через всю вторую половину века.

Полонский родился 6(18) декабря 1819 года в Рязани. Отец его был мелким чиновником; мать происходила из дворянского рода Кафтыревых. Окончив рязанскую гимназию, Полонский в 1838 году приехал в Москву и поступил на юридический факультет Московского университета. «Я не мог поступить на филологический факультет, — говорит Полонский в своих воспоминаниях: — на изучение иностранных языков у меня не хватало памяти».

На экзамене соседом Полонского оказался

«весьма благообразный юноша с профилем, напоминавшим профиль Шиллера, с голубыми глазами и с какою-то толко разлитой по всему лицу его восторженностью и меланхолией». Это был Аполлон Александрович Григорьев — будущий критик и поэт. «Я тотчас же с ним заговорил, — вспоминает далее Полонский, — и мы сошлись. Он признался мне, что пишет стихи; я признался, что пишу драму (совершенно мною позабытую) под заглавием «Вадим Новгородский, сын Марфы Посадницы». Через Григорьева Полонский познакомился с его другом Фетом и с целым студенческим кружком, увлекавшимся философией и поэзией.

Тогдашний Московский университет был не только «университетом таинственного гегелизма» (по выражению Аполлона Григорьева), но и университетом либерализма — особенно в лице Т. И. Грановского, лекциями которого по истории средних веков увлекался и Полонский. «Мы все были идеалистами, т. е. мечтали об освобождении крестьян», — вспоминал потом Полонский. Этот дух либерализма находил себе опору и в университете — в тех знакомствах, которые завязал Полонский в эти годы. Особенно важную роль в его юные годы сыграло общество, собиравшееся в доме М. Ф. Орлова — декабриста, избежавшего ссылки в Сибирь только «по вине» (как выразился Герцен) его брата, николаевского шефа жандармов А. Ф. Орлова. Полонский вспоминает: «Вся тогдашняя московская знать, вся московская интеллигенция как бы льнула к

изгнаннику Орлову; его обаятельная личность всех к себе привлекала. <...> Там, в этом доме, впервые встретил я и Хомякова, и профессора Грановского, только что приехавшего из Германии, и Чаадаева, и даже молодого Ивана Сергеевича Тургенева».

Вспоминает Полонский и о том, какую значительную роль сыграли в его студенческие годы статьи Белинского, о котором он узнал от своего приятеля Н. А. Ровинского. «Ровинский был близок к кружку Станкевича, — вспоминает Полонский. — Он хотел познакомить меня с Белинским, но успел только познакомить меня с Иваном Петровичем Ключниковым, другом Белинского». Ключников имел очень большое влияние на Полонского, поддерживая в нем, по его собственным словам, веру «в существование иных, счастливых берегов» (поэма «Свежее преданье»). Через Ключникова Полонский познакомился и с Белинским (летом 1839 года). «Помню, — говорит Полонский в мемуарной наброске, — я послал ему стихи и письмо. Помню, как <...> зашел к нему и как Белинский отнесся ко мне как к начинающему и мало подающему надежд мальчику (я и был еще мальчик)... Я был так огорчен невниманием Белинского, что чуть не плакал — и, кажется, послал ему письмо, где уверял его, что никто на свете не забудет меня в моем поэтическом таланте».

В 1840 году, в журнале «Отечественные записки», появилось первое стихотворение Полонского («Священный благовест торжественно звучит...»);

в 1842 году несколько его стихотворений появилось в студенческом сборнике «Подземные ключи». Так началась литературная деятельность Полонского. Печата́ть стихи в журналах начинающему поэту было трудно — возник вопрос об отдельной книжке. Устроили складчину, и осенью 1844 года вышла первая книга стихов Полонского — «Гаммы». Самое название сборника намекает на то, что это только первые поэтические упражнения. Однако в некоторых стихотворениях уже есть та «свежесть лиризма» (по выражению Гоголя), которая, при всей незрелости этих вещей, заставила обратить на них внимание критики. Это касается в особенности стихотворений романсного типа. Приятель Белинского П. Н. Кудрявцев (писатель и историк) отзывался о «Гаммах» очень благосклонно, найдя в этом сборнике связь с умственным движением нового времени: «Если это не сама поэзия, то прекрасные надежды на нее». Отзыв Белинского (в обзоре русской литературы за 1844 год) был гораздо более сдержанным и основанным на ином представлении о поэзии: «Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделает человека поэтом. Но и одного этого также еще слишком мало, чтобы в наше время заставить говорить о себе как о поэте <...> главное и трудное дело состоит не в том, чтобы иметь направление и идеи, а в том, чтоб не выбор, не усилие, не стремление, а прежде всего сама на-

тура поэта была непосредственным источником его направления и его идей».

Жизнь в Москве была для Полонского нелегкой — ни в моральном, ни в материальном отношении. Он не чувствовал себя вполне своим среди «людей сороковых годов», погруженных в высшие вопросы философии, истории, эстетики и проч. Он не был подготовлен к такого рода деятельности — ни по своему образованию, ни по своим интересам. Н. Ровинский пробовал посвятить его в тайны гегельянства, но из этого мало что получилось. «Ровинский был близок к кружку Станкевича, — вспоминает Полонский, — и для меня, наивно верующего, выросшего среди богомольной семьи, был чем-то вроде тургеневского Рудина».

В одном из стихотворений, обращенном к университетскому приятелю, Н. М. Орлову (сыну М. Ф. Орлова), Полонский ответил на насмешки:

Я в темном уголке сижу, не на примете...
Сижу, смотрю, что делается в свете,
И рад, что иногда считаю протыком, —
За то, что не хочу трезвонить языком...

Трудным было и материальное положение Полонского — тем более что он попал в круг светской, обеспеченной молодежи и бывал в салонах А. М. Голицыной, Ховриной, Елагиной, баронессы Шелинг и других. «Хожу по утрам на лекции в чужом короткорукавом сертучинке и в изорванной фуражке, как точно вырвавшийся из

кабака... Вечером переменяю роль, одеваю во фрак, надеваю желтые перчатки, шарф — и о студенческой фуражке помину нет» (письмо к Н. М. Орлову 1844 г.). В последние годы университетского ученья Полонский жил в доме кн. В. И. Мещерского в качестве репетитора. О своем ученике он писал тому же Н. М. Орлову, уехавшему в Крым: «Ни науки, ни искусства не составляют для него ровно никакого интереса — лошади, кнутья, ружья, из которых не стреляет, шашка, которой разрубил себе бок, и преферанс — вот его единственные занятия. Мне здесь душно — как в тюрьме <...>. Если на Крымском полуострове — где-нибудь в приморском городе — ты найдешь для меня место, я буду весьма тебе благодарен».

В ноябре 1844 года Полонский выехал из Москвы в Одессу — «без цели, без плана ускорил из Москвы», как он выразился впоследствии в одном письме.

2

О жизни в Одессе Полонский сам подробно рассказал в своем романе-хронике «Дешевый город» (1879). «Это вернейшая копия с Одессы и одесского общества в 1845—46 годах», — писал он А. П. Чехову. «Одесса — практический, коммерческий город», но в то же время «страшнейший любитель стихов», говорится в этом романе. «Стихи никому не мешают здесь обделывать дела свои. Надеюсь, что и мои идеалы не поме-

шают мне стать на практическую точку зрения», — пишет герой романа Елатомский (т. е. сам Полонский) одному из московских друзей. Однако жизнь в Одессе не привела ни к какому «практическому» результату. Что касается стихов, то кто-то из одесских «недалековидных приятелей» Полонского (по его собственному выражению) издал книжечку его новых стихотворений («Стихотворения 1845 года»). Этот сборник был гораздо слабее «Гамм» — и Белинский отозвался о нем сурово. Он увидел в этих стихах «ни с чем не связанный, чисто внешний талант», то есть (как было раньше сказано им о Бенедиктове) талант, «ослепляющий глаза внешнею стороною искусства и выходящий не из вдохновения, а из легко воспламеняющейся натуры». Такого рода талант, по словам Белинского, «так же тихо и незаметно сходит с арены, как шумно и блистательно является на нее». Будущее Полонского казалось Белинскому сомнительным: «Заглавие «Стихотворения 1845 года» обещает нам длинный ряд небольших книжек, обещание несколько не утешительное. Стихотворения 1845 года уже хуже стихотворений, изданных в 1844 году... Это плохой признак». Впоследствии Полонский с благодарностью вспоминал об этом отзыве Белинского: «Его отзыва отрезвил меня <...>, и по крайней мере три четверти из моих тогдашних стихотворений не поступило в полное собрание моих стихотворений». Не так, конечно, отнесся Полонский к отзыву Белинского в момент его появления в печати.

Это было страшным жизненным ударом для него; слова Белинского заставили его задуматься над своим будущим и принять новые решения.

Еще в первые дни по приезде в Одессу Полонский узнал, что одесский генерал-губернатор М. С. Воронцов назначается наместником на Кавказ. «Вся Одесса в волнении, — писал он Н. М. Орлову 1 января 1846 года, — все здешнее народонаселение движется за ним, как за колонновожатым. Одесса пустеет — и вряд ли я останусь здесь. Хочется быть на Кавказе и увидеть природу лицом к лицу». «Ради бога, перетащите меня туда, где вы, — писал герой «Дешего города» уехавшим на Кавказ приятелям, — где борьба, где кипит новая жизнь и где, как видно, еще не умерла поэзия. Если не будет места в Тифлисе, я поступлю в юнкера».

Друзья выхлопотали Полонскому место в канцелярии наместника, и в июне 1846 года он уехал из Одессы в Тифлис.

«Когда, поступив на службу, я в первый раз проходил через канцелярию наместника в кабинет директора Сафонова, — вспоминает Полонский, — я чувствовал такое к себе презрение — такое гадливое к себе чувство при виде чиновников наполнило мою душу, что смешно вспомнить... Мне казалось, что я уже не прежний, свободный, как ветер, независимый, самостоятельный юноша. Слово *начальник* было мне нечуждо... По спасибо Белинскому! — не разбрани он меня, не решишь я навсегда покинуть свои стихотворные или поэтические затей, я бы,

кажется, ни за что не поступил на службу — и если бы та же судьба меня озлобила, я бы погиб. Моя поэтическая деятельность никакой материальной поддержки, никаких средств к жизни не давала мне — особенно в первое время, в конце николаевского царствования, когда цензура не пропускала моей прозы. Только служба да уроки и могли спасти меня от нищеты». Явилась было даже мысль — бросить все и вернуться в Рязань, «где в продолжение десяти лет не прибавилось ни одного домика, ни одной лавочки, ни одного фонаря». В тифлисской тетради записано четверостишие, порожденное, вероятно, этим тяжелым настроением:

Бесплодный жар любви тая в своей груди,
Я, не рожденный для поклонов,
Уйду, заеду в глушь, исчезну посреди
Шестидесяти миллионов!

Прошло некоторое время, и настроение изменилось к лучшему. В канцелярии наместника Полонскому было поручено составить статистику города Тифлиса и всего уезда; это требовало разъездов для собирания материала — трудная, но живая работа. «Я не вставал с лошади в 1848 г. (если не ошибаюсь)¹ с 11 апреля по 16 сентября, — вспоминает Полонский, — ездил на своем английском седле и на переменных

¹ На самом деле эти поездки были не в 1848, а в 1847 году.

лошадях». Кроме того, Полонский получил должность помощника редактора в официальной тифлисской газете «Закавказский вестник». Правда, от этого назначения было мало радости: «В «Закавказском вестнике» вы не найдете ни одной моей статьи, — писал Полонский своим друзьям 15 августа 1846 года, — потому что мне сказано: Пусть «Закавказский вестник» остается таким же, как он есть — формат его казенный, изменить его невозможно, — итак, все, что могу я делать, и все, что делаю, — это исправляю, сокращаю те безграмотные статьи, которыми снабжают редакцию». Впрочем, позднее (в годы 1848—1850) Полонский печатал в этой газете очерки и статьи («Климат в Тифлисском уезде», «Тифлис на лицо и на изнанку» и др.). «В это время писал я статейки и о суходольном сараниском пшене, и о шелкомотальных станках — и уж не помню о чем», — говорит он в черновых воспоминаниях. Это дело не ограничилось: в «Закавказском вестнике» 1848 года появилось несколько стихотворений Полонского, а в 1849 году в Тифлисе вышел сборник «Сазандар».

Большую роль в этом возвращении к стихам сам Полонский приписывает людям, которые собрались в эти годы в Тифлисе в связи с культурно-просветительными, художественными и научными проектами русского правительства. Полонский познакомился здесь с писателем В. А. Сологубом, с художником Г. Г. Гагариным, с востоковедом Н. В. Ханыковым, с актерами русского театра и др. Надо особо отметить

его знакомство с художником А. Е. Бейдеманом — другом П. А. Федотова, близким приятелем петрашевца А. П. Баласогло. Сам Полонский с благодарностью вспоминал о встречах с ссыльным польским поэтом Заблоцким (см. примечание к стихотворению «Татарская песня»): «В Тифлисе познакомился я с польским поэтом Лада-Заблоцким. Он стал посещать меня, читать книги, переводить мне стихи свои — и опять зажег во мне неодолимую жажду высказываться стихами». Интересно, что Тадеуш Лада-Заблоцкий был университетским товарищем Белинского и участником «Литературного общества II номера».

Надо прибавить, что Полонский завязал знакомство с грузинскими и азербайджанскими поэтами, учеными. Приехав в Тифлис, он вступил в тот круг, из которого судьба только что вырвала Лермонтова. Здесь хорошо помнили и любили Пушкина, хранили память о Грибоедове. «Я познакомился с т-ше Грибоедовой», — сообщил Полонский одесским друзьям в 1846 году. Ее отец, поэт Александр Герсеванович Чавчавадзе, умер незадолго до приезда Полонского в Тифлис; с братом Н. А. Грибоедовой Давидом он был знаком (см. стихотворение «Кахетинцу») и бывал у них в доме (см. стихотворение «Н. А. Грибоедова»). Как видно из примечания к статье об армянском поэте Саят-Нова, Полонский был хорошо знаком и с Ю. Ф. Ахвердовым, пасынком известной П. Н. Ахвердовой, которая была близким другом Грибоедова и Кюхельбе-

кера. В архиве Полонского есть материалы, свидетельствующие о его серьезном интересе к азербайджанскому фольклору: записи народных песен, послоний, отдельных выражений и слов. Есть перевод «Песни Захры Ханум», сделанный, по-видимому, с помощью азербайджанского поэта и ученого Бакиханова (Абас-Кули-Хана); по его же подстрочному переводу Полонский написал «Татарскую песню». Наконец, Полонский был хорошо знаком с крупнейшим азербайджанским писателем и ученым Мирза Фатали Ахундовым, проживавшим в это время в Тифлисе и служившим в той же канцелярии наместника. Таким образом Полонский вошел в близкие отношения с деятелями грузинской и азербайджанской литературы и широко познакомился с культурой кавказских народов. Недаром появились у него такие стихотворения, как «В Имеретин» («Царя Вахтанга ветхие страницы...»), «Над развалинами в Имеретин», «Тамара и певец ес Шота Руставель», и недаром он написал историческую драму в стихах «Дареджана, царица Имеретинская» (из XVII века).

Кавказские стихотворения Полонского образуют особый цикл, резко отличающийся от всего, что было им написано в прежние годы. Поэтический горизонт Полонского сильно расширился. Казалось бы, после Пушкина и Лермонтова Кавказ стал для русской литературы запретной зоной, тем более для литературы пятидесятых годов, простившейся с романтизмом. На деле получилось иначе: разница между литературой

двадцатых годов и потребностями нового времени уже настолько определилась, что стало возможным и даже необходимым вернуться к старым темам заново. К началу пятидесятых годов вопрос о Кавказе становится одной из очередных политических и культурно-исторических тем. Это находит свой отклик в литературе — в виде большого количества повестей и очерков, описывающих жизнь на Кавказе в реалистических тонах, с подробностями быта, нравов. Лев Толстой начал в это время писать «Записки о Кавказе»; во введении он предупреждал, что читателям придется отказаться «от многих еще звучных слов и поэтических образов», и ставил своей задачей добиться того, чтобы «взамен погибших возникли новые образы, которые бы были ближе к действительности и не менее поэтичны».

Работа Полонского шла в том же направлении — «ближе к действительности». Среди его кавказских стихотворений есть описательные очерки в духе «натуральной школы». Таково, например, стихотворение «Выбор уста-баша»; такова же «Прогулка по Тифлису», насыщенная перечислением вещей, профессий, сцен — с точным наименованием, с использованием местных слов. При этом характерна социальная окраска всего описания:

Я знаю, что пужда не в силax разделять
Ни чувств насыщенных, ни развитых понятий,
Что наша связь давно разорвана с толпой,
Что лучшие мечты — источники страданья —

Для благородных душ остались мечтой...
Итак, чтоб не входить в бесплодные мечтания,
Я поскорей примусь за описание.

В других стихотворениях бытовые сцены и подробности получают лирическую окраску. Это ярко сказывается в таких стихотворениях, как «Грузинка», «Горная дорога в Грузии», «Грузинская ночь», «Ночь», «Старый сазандар». Герой этих стихотворений не простой путешественник и наблюдатель, он — поэт, в душе которого новые впечатления переплетаются с воспоминаниями и грустными думами о «родном крае». Лирика приобретает патетический характер, в то же время сохраняя точность местного колорита и связь с фольклором. Восторженное описание ночи («Грузинская ночь — я твоим упиваюсь дыханьем!») заканчивается грустным вопросом: «А вы, мои думы! <...> ужель суждено вам носиться бесплодно над этою чудной страной». Описание народного праздника, на котором плясала Майко («После праздника»), сменяется описанием следующего дня («веселый пир народный прошел, как сон»), а в эту тему влетается другая:

Так некогда любовь
Моя прошла; пыл сердца благородный
Простыл, давно простыл; — но не простыла кровь!

Знаменитая «Ночь» («Отчего я люблю тебя, светлая ночь...»), написанная, правда, под впечатлением от крымской поездки, но очень близ-

кая к кавказскому циклу, заканчивается внезапной и очень многозначительной фразой, заново осмысляющей все предшествующее: «Оттого, может быть, что далек мой покой!» Надо отметить еще одну деталь, которая вносит в тему этого стихотворения особую психологическую сложность: «Так люблю, что *страдаю любовью* тобой!» Одной этой фразой стихотворение уведено далеко за пределы простого пейзажа.

Таким образом, стихотворения кавказского цикла объединены не только местом действия, но и личностью героя — поэта, судьба которого составляет их сюжетную основу. Особо важно в этой лирической сюите стихотворение «Старый сазандар», имеющее программный характер: беседа двух поэтов («сазандарей») о своем деле и о своих судьбах.

Вот, медных струн перстом касаясь,
Поет он, словно песнь его
Способна, дико оживляясь,
Быть эхом сердца моего!

На самом деле их судьбы разные: старик — народный поэт («званный гость на божий пир»), которого в раю ждет милая; его собеседник лишен этих даров.

Кавказский цикл заканчивается стихотворением «На пути из-за Кавказа», состоящим из двух контрастирующих частей. Главная тема первой —

Душу, к битвам житейским готовую,
Я за снежный несую перевал.

Вторая часть — интимная:

Но боюсь, если путь мой протянется —
Из родимых полей в край чужой, —
Одинокое сердце оглянется
И сожмется знакомой тоской.

В 1851 году Полонский приехал к отцу в Рязань, но не остался там: его путь «протянулся» из родимых рязанских полей в Москву, а отсюда — в Петербург. Он решил посвятить себя литературной деятельности.

3

За те пять лет, которые Полонский прожил на Кавказе, положение в родном краю не стало лучше «Писать в последние годы царствования Николая I было невозможно, — вспоминал он впоследствии, — цензура разоряла вконец; мои невинные повести, «Статуя весны», «Груня» и др., были цензурой запрещены; стихи вычеркивались; надо было бороться с цензором из-за каждого слова. Получить место я не мог — писатели были в загоне <...> — словом, страшное, тяжелое время я прожил в эти пятидесятые годы». К середине пятидесятых годов (после смерти Николая I) положение литературы изменилось — и это сразу сказалось на поэзии. Уже

20

в 1855 году был издан большой сборник стихотворений Полонского, а в течение следующего года вышли сборники стихотворений Некрасова, Огарева, Фета, Тютчева.

«Современник» встретил сборник Полонского полным одобрением. В рецензии Некрасова было сказано, что при таланте Полонский «обладает еще другим очень замечательным качеством: с течением времени он не поддается с большей или меньшей стремительностью назад, как весьма часто случается с отечественными талантами, но хотя медленным, но твердым и верным шагом идет вперед — совершенствуется». Мало того, Некрасов еще прибавил, что произведения Полонского, «кроме достоинства литературного, постоянно запечатлены колоритом симпатичной и благородной личности», а это, как сказано в той же рецензии, необходимо писателю, «чтоб достойно проходить литературное поприще». В «Библиотеке для чтения» было подчеркнуто наличие в стихах Полонского того «теплого лиризма», которого давно не было в русской поэзии: «Из-за образов вы видите поэтическую натуру, сочувствующую благородным стремлениям времени». Особо был отмечен кавказский цикл: «Теплота и искренность разлиты в этих задушевных страницах».

В новом сборнике Полонского есть не только интимная, но и гражданская лирика, отражающая события 1854—1856 годов (Крымская война, смерть Николая I, общественное движение после войны и проч.). Говоря словами самого Полон-

21

ского, рядом с «тревогами сердца» в его стихах появились и «гражданственные тревоги». Таково стихотворение «Времени» — монолог в стиле лермонтовской «Думы»; таковы же «На корабле» (с возгласом «Заря!.. друзья, заря!», имеющим политический смысл), «На Черном море», «На пути из гостей», «И. С. Аксакову». Что касается интимной лирики, то она приобретает черты углубленного анализа душевных состояний и страстей. Таково, например, характерное «Не мои ли страсти...», процитированное Добролюбовым в статье о Полонском (1859). Традиционный (фольклорный по происхождению) параллелизм душевной жизни и жизни природы доведен здесь до того, что у поэта является вопрос: «Не мои ли страсти поднимают бурю?» И значит: «С бурями бороться не в моей ли власти?» Ответ дан в виде вопроса, тоже очень характерного:

Или у природы,
Как у сердца в жизни,
Есть своя улыбка
И свои невзгоды?

Другой пример — «Качка в бурю», где есть слова, с юности запомнившиеся Блоку: «От зари роскошный холод проникает в сад». Сам Полонский говорил на старости лет, что теперь он бы «не решился обмолвиться таким эпитетом — написал бы *вечерний холод* — и было бы хуже». В этом стихотворении жизнь сердца протекает во сне, превращая явления природы в воспомина-

ния: буря качает корабль — «качает няня колыбель мою». Сон — психологическая мотивировка (как это часто у Полонского) сюжета.

Полонский не ограничился лирикой: он писал и поэмы, и повести, и очерки, и романы (с заметной ориентацией на Тургенева). Добролюбов обратил внимание на то, что в своих рассказах Полонский «не удаляется от того характера, который мы находим господствующим в его стихотворениях <...> в них всегда рисуется перед нами — или какая-нибудь оригинальная личность, или странное явление душевной жизни, или, наконец, придается какая-нибудь таинственность внешней обстановке. Один из рассказов, «Статуя Весны», особенно близко подходит к характеру стихотворений г. Полонского». Это очень верное и тонкое наблюдение можно несколько расширить: иной раз стихотворения Полонского соотносятся не с его собственной прозой, а с прозой Лермонтова, Тургенева и др. Это особенно сказывается в тех стихотворениях, которые имеют характер новелл или баллад. Таково, например, стихотворение 1852 года «Финский берег» — ироническая парафраза на «Тамань» Лермонтова. Основная ситуация та же: бедный домик у моря, загадочная дочь хозяйки, которая «с усмешкой настежь двери отверяет». К ней обращается рассказчик с коварными вопросами (совсем как Печорин к «кундине»):

А скажи-ка, помнишь, ночью,
Как погода бушевала,

Из сеней укравши весла,
Ты куда от нас пропала?

В эту пору над заливом
Что мелькало? не платок ли?
И зачем, когда вернулась,
Башмаки твои подмокли?

Как и Печорин, рассказчик «пристыжен», но тем, что никакой загадки нет: «А зачем костер? — на это каждый вам рыбак ответит».

У Полонского есть подлинные лирические новеллы, еще несколько наивные по структуре, но уже совершенно определенные по поставленной в них художественной задаче: «Письмо» и «Воспоминание». В первом (он, в разлуке с ней, пишет ей письмо, но она — «среди степных неведжд»: «Пропустят ли они нераспечатанное мое письмо к ней в руки?») сущность конфликта сжато сформулирована в конце: «Нужда — невежество — родные и — любовь!» Знаменательно, что психологическая ситуация осложнена социально-бытовой стороной жизни («нужда»).

Из этих опытов или этюдов вырастает стихотворение «Колокольчик», на которое современники всегда указывали как на своего рода шедевр. В «Униженных и оскорбленных» Достоевского этим стихотворением восхищается Наташа Ихменева; в ее уста вложена интересная оценка: «Какие это мучительные стихи, Ваня! и какая фантастическая, раздающаяся картина. *Канва одна и только намечен узор, — вышивай,*

что хочешь» (ч. I, гл. XV). Это и в самом деле было замечательным художественным открытием Полонского, давшим ему возможность развернуть в пятидесятых годах целую лирическую сюиту: «В глуши», «Свет восходящих звезд...», «Моя судьба, старуха...», «Нет, нет! не оттого...». Сюда же относится и необыкновенная по решению задачи «Смерть малютки» — стихотворение, смысловый узор которого поражает своей многозначностью.

Имя Полонского становится известным в литературных кругах; у него завязываются дружеские отношения с И. С. Тургеневым, с поэтом М. Л. Михайловым, с А. Н. Майковым, Л. П. Шелгуновой. Однако его общественное и материальное положение остается трудным: как и прежде, ему приходится жить частными уроками. В 1855 году он принял предложение, некогда известной своей дружбой с Пушкиным, Гоголем и Лермонтовым, А. О. Смирновой — поселиться у них для воспитания ее сына. «Состояние духа моего в беспредастном колебании, — писал он Некрасову, — то я доволен и даже рад, что живу у Смирновых, то дуюсь на самого себя и браню себя на чем свет стоит за то, что поступил».

Весной 1857 года Полонский, в качестве «гувернера» Смирновых, поехал с ними за границу. «Покидая Петербург, — вспоминал он, — я чувствовал, — и мне было досадно и больно то чувствовать, — что мне никого не жаль покинуть, что нет ни одной души, с которой было бы

мне тяжело расставаться, ни друга, ни женщины, — ничего заветного не покидал я в столице моей родины». Осенью 1857 года Полонский уже расстался со Смирновыми и уехал из Баден-Бадена в Женеву. У него возник новый, почти фантастический проект. «15 августа нового стиля еду я в Женеву, — писал он М. Ф. Штакеншнейдер, — и там поселяюсь на всю осень, живу на каком-нибудь чердаке, знакомлюсь с Герасси и Калямом и учусь живописи днем, вечера и ночи пишу (совершенно устранившись от всякого общества). Если увижу, что у меня есть талант, останусь на целый год и буду работать». Александр Калям — известный в то время швейцарский художник-пейзажист; М. С. Герасси (вернее — Эрасси) — русский художник, ученик Каляма. Итак, литература оставлена — все надежды возложены на живопись. Впоследствии Полонский вспоминал: «Пребывание в Женеве с августа по октябрь в 1857 году было самое счастливое время моей жизни. <...> Живопись — или пристрастие к кистям и палитре спасло меня и от учительства и от вынужденного пуждой гувернерства».

Мечты Полонского, однако, не осуществились: Калям отказался принять его в число своих учеников. Уехав из Женевы в Рим, Полонский встретился там с Г. А. Кушелевым-Безбородко, который предложил ему быть помощником в новом журнале — «Русское слово». Полонский колебался. «Моя нерешительность, — писал он М. Л. Михайлову, — протекает <...> из же-

лания остаться в Риме надолго и учиться рисовать». Михайлов посоветовал принять предложение Кушелева. «Благодарю друга Михайлова, — писал Полонский Л. П. Шелгуновой в марте 1858 года, — <...> за совет принять предложение Кушелева, я принял его не потому, что тянет в литературную журнальную кабалу, а принял потому, что нельзя было не принять, у меня оставалось в кармане несколько франков и на последнем из них уже зияла черная бездна. <...> я мог бы в Риме рано или поздно умереть хотя и честной, но голодной смертью». Письмо кончается интересными словами, характерными для настроений русских передовых людей этого времени: «Как ни дурно в России, а, право, судя по тем слухам и письмам, которые ко мне со всех сторон стекаются, только Русь и шевелится, только у нас что-то и шевелится во имя прогресса. Европа спит мертвым сном (на вулкане), — выплывают наружу какие-то допотопные теории и предрассудки: Франция хлопочет о восстановлении аристократии, Италия теряет веру в будущее и тонет в невежестве — литература ее ничем не лучше упражнений наших гимназистов, — у всех слава назад, у нас одна она светит в далеком будущем. Вы этого, живя в России, не видите и не чувствуете, а нас всякая малость радует, даже и то, что в Петербурге будки сломали, — правда ли это?»

Из Рима Полонский поехал в Париж и там женился на дочери псаломщика при русской церкви — Елене Васильевне Устюжской. «Роко-

вая встреча с нею и вообще все это дело, мною начатое, — писал он Л. П. Шелгуновой, — подняли со дна души моей все, что чуть не с детства покоилось в ней. Все хорошие и дурные стороны моего характера, все выступили наружу, и я борюсь то со своим самолюбием, то с испугом за будущее, то с невольной боязнью взять на свою ответственность новое для меня существование, не имея под ногами у себя прочной почвы».

В августе 1858 года Полонский приехал в Петербург и взялся за редакторскую работу в журнале Кушелева «Русское слово».

4

Годы 1856—1858 были временем больших перемен как в общественно-политической жизни, так и в литературе — и особенно в журналистике. Определившаяся после Крымской войны революционная ситуация привела к обострению классовой борьбы. Развернулась «обличительная» литература, закипела журнальная полемика: «появилось столько журналов, что, казалось, все названия были исчерпаны», — писал Л. Толстой об этих годах (в первой главе «Декабристов»). Предпринятый Г. А. Кушелевым журнал «Русское слово» не имел ни серьезной общественной опоры, ни определенного направления. Полонский понимал, что он сделал ошибку, приняв предложение Кушелева. «Положение Полонского шатко, — записала в дневнике Е. А. Штакеншней-

дер. — Что такое журнал графа Кушелева, на что он ему? Сегодня вздумал издавать, завтра раздумает... А если он и не бросит журнала, то Полонского все же может бросить во всякое время». Она была права: Кушелев очень скоро бросил и журнал (передал его Г. Е. Благосветлову) и Полонского.

Положение Полонского стало очень трудным: его демократизм был расплывчат и не имел твердой идейной опоры, а в полемике с революционными демократами он не раз склонялся к либеральной позиции. Ему грозила опасность оказаться в лагере «чистого искусства» и разделить трагическую участь Фета, в шестидесятых годах потерявшего связь с живой современностью и с передовой литературой. Полонского спасло то, что он не был заражен «дворянским инстинктом», который болезненно развился у Фета. Поэзия Полонского всегда оставалась поэзией душевной и гражданской тревоги («Тревоги духа, а не скуку делил я с музой молодой», «Там даже сон любви — больной, тревожный сон» и т. д.), и это резко отличает его и от Фета и от Майкова: он ближе, с одной стороны, к Тютчеву, с другой — к Некрасову. О связях его с теорией «чистого искусства» можно говорить только в отношении начала шестидесятых годов: в дальнейшем эти связи оборвались.

В 1859 году вышел новый сборник стихотворений Полонского. Добролюбов сочувственно отметил основную черту его поэзии — «внутреннее слияние явлений действительности с образами

его фантазии и с порывами его сердца», но выразил досаду, что Полонский не умеет проклинать, что он «находит в себе силы только грустить о господстве зла, но не решается выйти на борьбу с ним. Самые дикие, бесчеловечные отношения житейские вызывают на его губы только грустную улыбку, а не проклятие, исторгают из глаз его слезу, но не зажигают их огнем негодования и мщения». В пример Добролюбов приводит стихотворение «На устах ее — улыбка...», которое считает «одним из замечательных стихотворений» Полонского, но удивляется его незлобности: «Тема этого стихотворения — нелепый общественный обычай, по которому женщина любящая и любимая гибнет в общем мнении, как скоро она отдается своему чувству вопреки некоторым официальностям, тогда как мужчина, бывший виною ее падения, преспокойно может обмануть ее и удалиться, извиняясь тем, что страсть его потухла. Вопль негодования мог бы вырваться у другого поэта, взявшего подобную тему; мрачная, возмутительная картина могла бы нарисоваться из таких отношений человеческого сердца к нелепым требованиям общества. Но вот какие стихи вышли у г. Полонского».

Полонский, конечно, не мог согласиться с Добролюбовым, но он надолго запомнил его упрек: «Когда покойный Добролюбов, говоря о моем стихотворении «На устах ее — улыбка...», жалел, зачем я не прихожу в негодование при мысли, что любя можно губить, я невольно по-

думал: вдумываться в явления жизни, воспроизведенные искусством, и приходить в негодование — это уж ваше дело, гг. критики». Расхождение очень характерное: Добролюбов увидел в этом стихотворении гражданскую тему («нелепый общественный обычай» и проч.), а Полонский смотрел на него как на чисто психологическое («любя можно губить»), близкое к тютчевскому «О, как убийственно мы любим!..» Однако слова Добролюбова очень задели его, потому что коснулись большого вопроса о «гражданственных тревогах» — о борьбе с социальным злом. Новая эпоха требовала, чтобы литература перешла (как выразился Салтыков-Щедрин, характеризуя задачи сатиры) «с почвы психологической на почву общественную», иначе говоря, чтобы психология была обоснована в ней социально-исторически. Таков был путь Некрасова. В сознании Полонского зло было явлением не столько социальным, сколько морально-психологическим; поэтому позиция поэта-борца была для него невозможна — дальше «нервического плача» («Муза») он пойти не мог.

Добролюбов упомянул о стихотворении «Сумасшедший», напечатанном в «Современнике» 1859 года. Это была одна из первых попыток Полонского откликнуться на то, что он сам называл «веяньями времени»,¹ — попытка очень характерная, поскольку социальная тема дана в

¹ «Веянья времени колебали меня во все стороны», — писал он Фету в 1890 году (Архив Полонского).

чисто психологическом обличье. Утопическая идея всеобщего счастья вложена в уста «сумасшедшего», который (как новый Поприщин) объявляет, что «разрешил задачу»:

Да, господа! мир обновлен. Века
К благословенному придвинули нас веку.
Вам скажет всякая приказная строка,
Что счастье нужно человеку.

Это, конечно, не значит, что Полонский считает эти мечты безумием, — он сам жил ими. Первая фраза — «Кто говорит, что я с ума сошел?!» — кажется цитатой из «Горя от ума» («Что это? слышал ли мои я ушами!» и т. д.), и недаром: смысл стихотворения раскрывается в заключительной строфе, звучащей когда-то агитационным призывом («Ликуйте! вечную приветствуйте весну!» и т. д.). Несколько сходная ситуация — в одном из «Снов» (частый мотив в лирике Полонского):

Уж утро! — но, боже мой, где я?
Заснул я как будто в тюрьме,
Проснулся как будто свободный, —
В своем ли я нынче уме?

5

В шестидесятых и семидесятых годах Полонский все чаще и все энергичнее откликается на общественно-политические события и вопросы, но его гражданская лирика остается лирикой «гра-

32

жданственных тревог» и не переходит в лирику «негодования». Горькое раздумье, жалобы, недоумение, грусть, досада, страх за будущее человечества — таковы главные эмоциональные тона его лирики. «Откликнитесь, где вы, счастливые, где?» — спрашивает он без надежды на ответ. В «злой современности» он не видит никаких путей к добру (см. стихотворение «Среди хаоса»), а потому живет жаждой «пересилить время — уйти в пророческие сны» («Муза», 1866). Таково, например, стихотворение «Неизвестность» (1865), написанное по следам грозных событий последних лет (в том числе — арест и гражданская казнь Чернышевского, польское восстание, расправа Австрии и Пруссии с Данией). Это уже не иносказание и не психологический этюд, а политический монолог, состоящий из ряда вопросов, раздумье о настоящем и будущем, содержащее предчувствие грядущих социальных катастроф и преобразований. Характерно, что Полонский возлагает свои надежды не на силы народа, не на исторический процесс, а на то, что придет гений («пророк-фанатик вдохновенный или практический мудрец»), который «заставит очнуться нас от тяжких снов». В последних строках говорится о «предтече», который, может быть,

Уже проселками шагает,
Глубоко верит и не знает,
Где ночевать, что есть и пить...

3 Я Полонский

33

Это заставляет вспомнить лермонтовского пророка («Из городов бежал я нищий»); однако признаки, перечисленные Полонским, имеют более конкретный, бытовой характер и как будто намекают на то, что этот предтеча — ссыльный беглец:

Кто знает, может быть, случайно
Он и к тебе уж заходил,
Мечты мечтами заменил
И в молодую душу тайно
Иные думы заронил.

Слово «мечта» имеет здесь, конечно, не прежний отвлеченно-романтический, а социальный смысл.

Рядом с «Неизвестностью» можно поставить стихотворение «Откуда?!», написанное накануне франко-прусской войны и Парижской коммуны. Оно начинается почти так же, как «Неизвестность» («Откуда же взойдет та новая заря»), и состоит тоже из целой системы вопросов, но уже не о том, «кто этот гений», а о том, чья культура принесет истинную свободу. Вопросы прерываются неожиданным и, повидимому, полемическим (в адрес неославянофилов) заявлением: «Мне, как поэту, дела нет, откуда будет свет, лишь был бы это свет».

Надо сказать, что поэтическая индивидуальность и лирическая сила Полонского нашли свое

выражение не в такого рода ораторских монологах, а в более характерной для него сюжетно-психологической лирике — в таких стихотворениях, как «Мназм» («Дом стоит близ Мойки...»), «Простая быль», «Что с ней?», «Ночная дума», «Слепой тапер», «Узница» («Что мне она! — не жена, не любовница...»). Особенно популярна была последняя вещь — и не только благодаря самой теме, но и потому, что тема эта развернута в форме взволнованной авторской речи, за которой скрывается сложный душевный процесс. Черновой автограф этого стихотворения насыщен большим количеством бытовых подробностей; кроме того, есть строки, которые не могли быть пропущены цензурой: «Словно зовет меня, в зле неповинного, в суд отвечать за нее» или о «свете», в котором «кишат лицемерные пауты — развратник иль вор». Здесь Полонский приблизился к Некрасову — и это не случайно: поэзия Некрасова стала в эту пору для Полонского своего рода лирической темой — одной из его «гражданственных тревог». Он то спорит с Некрасовым, то преклоняется перед ним. Еще в 1860 году появилось стихотворение «Для немногих» («Мне не дал бог бича сатиры...»), в котором Полонский противопоставляет свою музу некрасовской: «Я не зываю к дальним братьям <...> В моей душе проклятий нет». К 1864 году относится стихотворение «Поэту-гражданину», в котором «мечтателем» оказывается Некрасов — «гражданин с душой наивной»:

а ограничиваясь сферами средними, в которых всякое направление утрачивает свои резкие особенности <...>. С именем каждого писателя (или почти каждого) соединяется в глазах публики представление о какой-нибудь физиономии, хорошей или плохой; с именем г. Полонского не сопрягается ничего определенного. Во внутреннем содержании его сочинений нет ничего, что поражало бы дикостью; напротив того, он любит науки и привязан к добродетели, он стоит почти всегда на стороне прогресса, и все это, однако ж, не только не ставится ему в заслугу, но просто-напросто совсем не примечается.

Под впечатлением этой рецензии Полонский написал Тургеневу, жалуясь на свою судьбу и на положение поэзии в России, Тургенев ответил обычным своим советом: «Продолжай делать свое, не спеши и не волнуйся», а сам написал письмо в редакцию «Петербургских ведомостей», в котором выступил на защиту Полонского. В этом письме Тургенев возражал Салтыкову: «Определение Полонского как писателя несамобытного, эклектика неверно в высшей степени. Если про кого должно сказать, что он не эклектик, не поет с чужого голоса, что он, по выражению А. де Мюссе, поет хотя из маленького, но из своего стакана, так это про Полонского. Худо ли, хорошо ли он поет, но поет уж точно по-своему... Талант его представляет особенную, ему лишь одному свойственную, смесь протодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского

изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости». Письмо кончалось резким отзывом о стихах Некрасова.

Редакция газеты сделала характерное примечание, в котором объясняла причины равнодушия и охлаждения публики к стихам Полонского: «Это охлаждение не случайно, оно создано не измышлением того или другого критика и вовсе не есть особенность русской критики и публики <...>. Общественные задачи повсюду отвлекают внимание от так называемой чистой, точнее — личной поэзии. Талант г. Полонского, сам по себе не очень сильный, преимущественно очерпает свое содержание в сфере личных, лирических ощущений, лучшее время которых пережито обществом и прошло».

Прочитав защитительное письмо Тургенева, Полонский написал Некрасову: «Из этого письма я увидел ясно, что одна несправедливость в литературе вызывает другую, еще большую несправедливость. Отзыв И. С. Тургенева о стихах ваших глубоко огорчил меня. Однако поправить дело было уже невозможно. Воспользовавшись появлением нового сборника стихотворений Полонского («Снопы», 1871), Салтыков-Щедрин напечатал еще более резкую рецензию, в которой утверждал, что основной недостаток поэзии Полонского — неясность миросозерцания».

Все дело было в том, что Полонский не мог перейти «с почвы психологической на почву общественную» — так, как это сделал Некрасов. И произошло это, разумеется, не только потому,

что Полонский не был поэтом гениальным, но прежде всего потому, что в его сознании и мировоззрении не было крепкой социальной опоры — ни на интеллигенцию, ни на народ. Полонский сам понимал эту свою социальную и поэтическую неполноценность; его «Жалобы музы» — очередной «первичский плач», кончающийся воплем музы к поэту:

Куда я пойду теперь? — темен мой путь...
Кличь музу иную — меня позабуди!

Основным поэтическим делом Полонского было создание лирики сердечных тревог и гражданственных жалоб, лирики постоянных «опасений» и тяжелых «ночных дум»:

Как больной, я раскрываю очи.
Ночь, как море темное, кругом.
И один, на дне осенней ночи,
Я лежу, как червь на дне морском.

В стихотворениях Полонского последних лет (он умер в 1898 году) общественные темы почти исчезают — он возвращается к интимной лирике, разрабатывая преимущественно мотивы старости и смерти. В ответ на старческий сборник Фета «Вечерние огни» он выпускает свой «Вечерний звон»; здесь есть образы и темы, прямо восходящие к ранним стихам и замыслам. Те самые «тени ночи», которые были в «Гаммах», появились заново, хотя и в иной роли:

Я свечи загасил, и сразу тени ночи,
Нахлынув, темною толпой ко мне влетели.

Они шепчутся, разглядывая старика: «Глядите, как при нас, во сне, он свеж и молод!» (ср. в стихотворении «Качка в бурю» 1850 года: «Снится мне: я свеж и молод»). Старик поднялся — и тени «к окнам хлынули и на пороге стали» (ср. «Пришли и стали тени ночи на страже у моих дверей»). В 1888 году Полонский послал А. П. Чехову стихотворение «У двери», — его первый набросок имеется в тетради 1851 года. Это возвращение к своей ранней лирике Полонский мотивировал тем, что в восьмидесятых годах поэзия вообще перестала быть насущной необходимостью. «Спросите теперь любого молодого студента или юношу, какой его любимый поэт, — писал он Л. И. Поливанову в 1892 году. — Он удивится. Молодежь — и в том числе и мой сын — прямо заявляют мне, что в поэзии не находят они ничего дурного, но она мало их привлекает — она отошла уже на последний план или уступила место иным вопросам — вопросам политики и социологии. Я даже и понять не могу, откуда такое множество стихов и новых стихотворений! Их в журналах пропускают даже сентиментальные барышни. <...> Припоминаю сороковые годы, когда стихи не только читались, но и запоминались, невольно скажешь — нет, теперь другой дует ветер». Однако именно в девятых годах Александру Блоку запомнилось стихотворение «Качка в бурю» и имя его

автора (см. в «Автобиографии»); в ранних стихах Блока неоднократно встречаются цитаты из Полонского, а в дневнике 1920 года выписаны стихотворения Полонского пятидесятых годов, появившиеся в альманахе «Творчество» (1918). Наконец, в поэме «Возмездие» есть лаконичский, но выразительный портрет Полонского, декламирующего на вечерах у Анны Вревской:

С простертой дланью вдохновенно
Полонский здесь читал стихи.

В предисловии к сборнику «Сноп» (1871) Полонский с грустью говорил: «Невелика моя нива, невесела моя жатва <...>. Пожинаю то, что посеяно во мне самим обществом; не все семена, им брошенные, принесли плоды свои, и быть может, много лебеды примешалось к ним; но — не то беда, что во ржи лебеда, говорит русская пословица, а то беда, коли ни ржи, ни лебеды». Здесь же он выразил надежду, что когда-нибудь «трудолюбивая критика» выбьет из снопов его поэзии хоть одну горсть пригодных зерен «и высылет их на общую потребу, в одну из наиболее скудных житниц нам родной литературы. Авьось, и солома на что-нибудь пригодится», — прибавил он.

Читатели сами сделали отбор этих пригодных зерен: такие стихотворения Полонского, как «Солнце и Месяц» («Ночью в колыбель младенца...»), «Зимний путь» («Ночь холодная мутно глядит...»), «Затворница» («В одной зна-

комой улице...»), «Ночь» («Отчего я люблю тебя, светлая ночь...»), «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит...»), «Колокольчик» («Улеглася метелица... путь озарен...») давно вошли в песенный и декламационный репертуар очень широкого круга, а некоторые из них существуют даже в качестве народных песен. Отбор этот очень характерен; он идет главным образом по романсной линии и почти не выходит за пределы молодости Полонского — сороковых и пятидесятых годов. Широкий читатель знает и помнит Полонского именно как одного из создателей русского популярного романа. Думается, что настало время и для правильной исторической оценки «гражданственных тревог» Полонского, поскольку ими окрашена значительная часть его стихотворений и поскольку своеобразие его лирики заключается именно в соотношении этих тревог с «тревогами сердца». Прав был Александр Блок, когда написал Б. А. Садовскому (по поводу его статьи о Полонском), что несогласен с «резким вычеркиванием гражданственности Полонского», и прибавил: «защитить ее хоть одним *цельным* стихотворением я не возьмусь, но — она связана у него даже с «Царь-Девницей», не говоря об «Улеглася метелица».

Б. Эйхенбаум

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЖНИЦЫ

Пой, пой, свирель!.. Погас последний луч
деницы...

Вон, в сумраке долин, идут толпами жницы,
На месяце блестят и серп их и коса;
Пыль мягкая чуть-чуть дымится под ногами,
Корзины их шумят тяжелыми снопами,
Далеко звонкие их слышны голоса...
Идут... прошли... чуть слышно их... Бог
с ними!

Я жду ее одну, с приветом на устах,
В венке из полевых цветов, с серпом в руках,
Обремененную плодами золотыми...
Пой, пой, свирель!..

1840

БЭДА-ПРОПОВЕДНИК

Был вечер; в одежде, измятой ветрами,
Пустынной тропой шел Бэда слепой:
На мальчика он опирался рукой,
По камням ступая босыми ногами, —
И было все глухо и дико кругом,
Одни только сосны росли вековые,
Одни только скалы торчали седые,
Косматым и влажным одетые мхом.

Но мальчик устал; ягод свежих отведать,
Иль просто слепца он хотел обмануть:
«Старик, — он сказал, — я пойду отдохнуть;
А ты, если хочешь, начини проповедать:
С вершин увидали тебя пастухи...
Какие-то старцы стоят на дороге...
Вон жены с детьми! говори им о боге,
О сыне, распятом за наши грехи».

И старца лицо просияло мгновенно;
Как ключ, пробивающий каменный слой,
Из уст его бледных живою волной
Высокая речь потекла вдохновенно —
Без веры таких не бывает речей!

Казалось — слепцу в славе небо являлось;
Дрожащая к небу рука поднималась,
И слезы текли из потухших очей.

Но вот уж сгорела заря золотая
И месяца бледный луч в горы проник,
В ущелье повеяла сырость ночная,
И вот, проповедуя, слышит старик —
Зовет его мальчик, смеясь и толкая:
«Довольно!.. пойдём!.. никого уже нет!»
Замолк грустно старец, главой поникая.
Но только замолк он — от края до края
«Аминь!» — ему грянули камни в ответ.

<1841>

СОЛНЦЕ И МЕСЯЦ

Ночью в колыбель младенца
Месяц луч свой заронил.
«Отчего так светит Месяц?» —
Робко он меня спросил.

В день-деньской устало Солнце,
И сказал ему господь:
«Ляг, засни, и за тобою
Все задремлет, все заснет».

И взмолилось Солнце брату:
«Брат мой, Месяц золотой,
Ты зажги фонарь — и ночью
Обойди ты край земной».

Кто там молится, кто плачет,
Кто мешает людям спать,
Все разведай — и поутру
Приходи и дай мне знать».

Солнце спит, а Месяц ходит,
Сторожит земли покой.
Завтра ж рано-рано к брату
Постучится брат меньшей.

Стук-стук-стук! — отворят двери.
«Солнце, встань — грачи летят,
Петухи давно пропели —
И к заутрене звонят».

Солнце встанет, Солнце спросит:
«Что, голубчик, братец мой,
Как тебя господь-бог носит?
Что ты бледен? что с тобой?»

И начнет рассказ свой Месяц,
Кто и как себя ведет.
Если ночь была спокойна,
Солнце весело взойдет.

Если ж нет — взойдет в тумане,
Ветер дует, дождь пойдет.
В сад гулять не выйдет няня
И дитя не поведет.

1811

Ну-ну, живей! Долга моя дорога —
Сырая ночь — ни хаты, ни огня —
Ямщик поет — в душе опять тревога —
Про черный день нет песни у меня.

<1842>

ДОРОГА

Глухая степь — дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман — мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.

Как кони ни бегут — мне кажется, лениво
Они бегут. В глазах одно и то ж —
Всё степь, за нивой снова нива.
— Зачем, ямщик, ты песни не поешь? —

И мне в ответ ямщик мой бородатый:
— Про черный день мы песню бережем,
— Чему ж ты рад? — Недалеко до хаты —
Знакомый шест мелькает за бугром. —

И вижу я: навстречу деревушка,
Соломой крыт стоит крестьянский двор,
Стоят скирды. — Знакомая лачужка,
Жива ль она, здорова ли с тех пор?

Вот крытый двор. Покой, привет и ужин
Найдет ямщик под кровлею своей.
А я устал — покой давно мне нужен;
Но нет его... Меняют лошадей.

НА МОГИЛЕ

Сто лет пройдет, сто лет; — забытая могила,
Вчера зарытая, травкою порастет,
И плуг пройдет по ней, и прах, давно остывший,
Могущественный дуб корнями обовьет, —
Он гордо зашумит вершиною густою;
Под тень его любовники придут
И сядут отдыхать вечернею порою,
Посмотрят вдаль, повзвнував голосною,
И темных листьев шум, задумавшись, поймут.

< 1842 >

МАСКА

В пестроте, в многолюдстве собрания,
Праздным взором скользя без вниманья,
Злою скукой томимый давно,
У колони встретил я домнию.

Протянув свою ручку-малютку,
Она сжала мою не на шутку,
На лице моем жар заиграл,
Но я милой моей не узнал.

Из-под шелковой розовой маски,
Как две звездочки, теплелись глазки,
И на мне остановленный взор
Выражал и любовь и укор.

Наконец она тихо сказала:
«Я давно, я везде вас искала» —
Изменил речи трепетный звук,
Я узнал трепет милых мне рук.

О, во имя любви простодушной,
Не снимай этой маски бездушной,
Я боюсь, друг мой милый, любя,
В этот миг я боюсь за тебя.

В пестроте, в многолюдстве собранья
Пусть пройдет клевета без вниманья,
И любви откровенной слова
Не подслушает злая молва.

1842

Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей!
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей;
Над ухом шепчет голос нежный,
И змейкой бьется мне в лицо
Ее волос, мой небрежной
Рукой измятое, кольцо.

Помедли, ночь! густою тьмою
Покрой волшебный мир любви!
Ты, время, дряхлою рукою
Свои часы останови!

Но покачнулись тени ночи,
Бегут, шатаясь, назад.
Ее потупленные очи
Уже глядят и не глядят;
В моих руках рука застыла,
Стыдливо на моей груди
Она лицо свое сокрыла...
О солнце, солнце! погоди!

1842

ТИШИЬ

Душный зной над океаном,
Небеса без облаков;
Сонный воздух не колышет
Ни волны, ни парусов.
Мореплаватель, сердито
В даль пустую не гляди:
В тишине, быть может, буря
Притаилась, погоди!

<1843>

УЗНИК

Меня тяжелый давит свод,
Большая цепь на мне гремит.
Меня то ветром опахнет,
То все вокруг меня горит!
И, головой прижав к стене,
Я слышу, как больной во сне,
Когда он спит раскрыв глаза, —
Что по земле идет гроза.

Налетный ветер за окном,
Листы крапивы шевеля,
Густое облако с дождем
Несет на сонные поля.
И божи звезды не хотят
В мою темницу бросить взгляд;
Одна, играя по стене,
Сверкает молния в окне.

И мне отраден этот луч,
Когда стремительным огнем
Он вырывается из туч...
Я так и жду, что божий гром
Мои окопы разобьет,

Все двери настежь распахнет
И опрокинет сторожей
Тюрьмы безвыходной моей.

И я пойду, пойду опять,
Пойду бродить в густых лесах,
Степной дорогою блуждать,
Толкаться в шумных городах...
Пойду, среди живых людей,
Вновь полный жизни и страстей,
Забыть позор моих цепей.

<1844>

В ГОСТИНОЙ

.....
В гостиной сидел за раскрытым столом мой отец,
Нахмуривши брови, сурово хранил он молчанье;
Старуха, надев как-то набок нескладный чепец,
Гадала на картах; он слушал ее бормотанье.
Немного подалее, тайком говоря меж собой,
Две гордые тетки на пышном диване сидели,
Две гордые тетки глазами следили за мной
И, губы кусая, с насмешкой в лицо мне глядели.
А в темном углу, опусти голубые глаза,
Не смея поднять их, недвижно сидела блондинка.
На бледных лавитах ее трепетала слеза,
На жаркой груди высоко поднималась косынка.

<1844>

ВСТРЕЧА

Вчера мы встретились; она остановилась —
Я также; мы в глаза друг другу посмотрели.
О боже, как она с тех пор переменялась...
В глазах потух огонь, и щеки побледнели.
И долго на нее глядел я молча строго.
Мне руку протянув, бедняжка улыбнулась;
Я говорить хотел — она же ради бога
Велела мне молчать, и тут же отвернулась,
И брови сдвинула, и выдернула руку.
И молвила: «Прощайте, до свиданья».
А я хотел сказать: «На вечную разлуку
Прощай, погибшее, но милое создание».

<1844>

Посмотри — какая мгла
В глубине долин легла!
Под ее прозрачной дымкой
В сонном сумраке раки
Тускло озеро блестит.
Бледный месяц невидимкой,
В тесном сонме сизых туч,
Без приюта в небе ходит
И, сквозь, на все наводит
Фосфорический свой луч.

<1844>

НОЧЬ В ГОРАХ ШОТЛАНДИИ

Спишь ли ты, брат мой?
Уж ночь остыла;
В холодный,
Серебряный блеск
Потонули вершины
Громадных
Синеющих гор.

И тихо и ясно,
И слышно, как с гулом
Катится в бездну
Оторванный камень,
И видно, как ходит
Под облаками
На отдаленном
Голом утесе
Дикий козленок.

Спишь ли ты, брат мой?
Гуще и гуще
Стаивается цвет полуночного неба,
Ярче и ярче
Горят планеты.

Грозно
Сверкает во мраке
Меч Ориона.

Встань, брат!
Из замка
Невидимой лютни
Воздушное пенье
Принес и утес свежий ветер.
Встань, брат!
Ответный,
Пронзительно-резкий
Звук медного рога
Трижды в горах раздавался,
И трижды
Орлы просыпались на гнездах.

< 1844 >

Отчего печаль былая
Так свежа и так ярка? —
Непонятное блаженство!
Непонятная тоска!

<1844>

ЛУННЫЙ СВЕТ

На скамье, в тени прозрачной
Тихо шепчущих листов,
Слышу — ночь идет, и — слышу
Переключку петухов.
Далеко мелькают звезды,
Облака озарены,
И, дрожа, тихонько льется
Свет волшебный от луны.

Жизни лучшие мгновенья —
Сердца жаркие мечты,
Роковые впечатленья
Зла, добра и красоты;
Все, что близко, что далеко,
Все, что грустно и смешно,
Все, что спит в душе глубоко,
В этот миг озарено.

Отчего ж былого счастья
Мне теперь ничуть не жаль,
Отчего былая радость
Безотраднa, как печаль,

Уже над ельником из-за вершин колючих
Сияло золото вечерних облаков,
Когда я рвал веслом густую сеть пловучих
Болотных трав и водяных цветов.

То окружая нас, то снова расступаясь,
Сухими листьями шумели тростники;
И наш челнок шел, медленно качаясь,
Меж толких берегов извилистой реки.

От праздной клеветы и злобы черни светской
В тот вечер наконец мы были далеко —
И смело ты могла с доверчивостью детской
Себя высказывать свободно и легко.

И голос твой пророческий был сладок,
Так много в нем дрожало тайных слез,
И мне пленительным казался беспорядок
Одежды траурной и светло-русых кос.

Но грудь моя тоской невольною сжималась,
Я в глубину глядел, где тысяча корней
Болотных трав невидимо сплеталась,
Подобно тысяче живых зеленых змей.

И мир иной мелькал передо мною —
Не тот прекрасный мир, в котором ты жила;
И жизнь казалась мне суровой глубиной
С поверхностью, которая светла.

<1844>

ВЫЗОВ

За окном в тени мелькает
Русая головка.
Ты не спишь, мое мученье!
Ты не спишь, плутовка!

Выходи ж ко мне навстречу!
С жаждой поцелую,
К сердцу сердце молодое
Пламенно прижму я.

Ты не бойся, если звезды
Слишком ярко светят:
Я плащом тебя одену
Так, что не заметишь!

Если сторож нас окликнет —
Назовись солдатом;
Если спросят, с кем была ты, —
Отвечай, что с братом!

Под надзором богомолки
Ведь тюрьма наскучит;
А неволя поневоле
Хитрости научит!

Октябрь 1844

ЗЕМНИЙ ПУТЬ

Ночь холодная мутно глядит
Под рогожку кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
А ямщик погоняет коней.

За горами, лесами, в дыму облаков,
Светит пасмурный призрак луны.
Вой протяжный голодных волков
Раздается в тумане дремучих лесов. —
Мне мерещатся странные сны.

Мне все чудится, будто скамейка стоит,
На скамейке старуха сидит,
До полуночи пряжу прядет,
Мне любимые сказки мои говорит,
Колыбельные песни поет.

И я вижу во сне, как на волке верхом
Еду я по тропинке лесной
Воевать с чародеем-царем
В ту страну, где царевна сидит под замком,
Изнывая за крепкой стеной.

Там стеклянный дворец окружают сады
Там жар-птицы поют по ночам
И клюют золотые плоды,
Там журчит ключ живой и ключ мертвой
воды —
И не веришь и веришь очам.

А холодная ночь так же мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
И ямщик погоняет коней.

1844

ПРОЩАЙ

Прощай!.. О да, прощай! Мне грустно..
Моих страданий передать
Я не могу тебе изустно,
И не могу, как раб, молчать.

Мы не привыкли лицемерить.
Не доверяя ничему,
Мы не хотели слепо верить
Больному сердцу своему.

И в час прощального привета,
Сгорая пламенем святым,
Друг другу вечного обета
Мы легковерно не дадим.

Быть может — грустное мечтанье! —
На длинном жизненном пути
В час равнодушного свиданья
Мы вспомним грустное *прости*.

Тогда мы улыбнемся оба,
Друг другу отдадим поклон —
И вновь простимся, чтоб до гроба
Нас не тревожил счастья сон.

1845

Развалину башни, жилище орла,
Седая скала высоко подняла,
И вся наклонилась над бездной морской,
Как старец под ношей, ему дорогой.

И долго та башня уныло глядит
В глухое ущелье, где ветер свистит;
И слушает башня — и слышится ей
Веселое ржанье и топот коней.

И смотрит седая скала в глубину,
Где ветер качает и гонит волну,
И видит — в обманчивом блеске волны
Шумят и мелькают трофей войны.

1845

МАЯК

Вон светит зарево над морем! за скалой
Мелькают полосы румяного тумана, —
То месяц огненный, ночной товарищ мой,
Уходит в темные пучины океана.

Прости!.. Я звезд ищу, их прежнего следа
Ищу я: по распутьям почти ясной
Я видел — в сонме звезд красавица звезда
Текла, — по, видно, луч ее потух в напрасной
Борьбе с туманами, которых путь несчастный
По небу тянется, как черная гряда.

Лучи небесные, прощайте!.. Взор блуждает,—
Где берега? — где море? — где восток? ..
Как в сумрачной степи пустынный огонек,
Один маяк вдали едва-едва мелькает,
И светится вдали, как огненный глазок.

Один маяк вдали — и нет ему затмения,
И дела нет ему до мрачных облаков,
Как будто видит он ночное приближение
К нему издали идущих парусов.
Горит — а на меня наводит утомленье
Печальный шум невидимых валов.

1845

ВАЛЬС „ЛУЧ НАДЕЖДЫ“

Надежды вальс зовет, звучит —
И, замирая, занывает;
Он тихо к сердцу подступает,
И сердцу громко говорит:

Среди бесчисленных забав,
Среди страданий быстротечных —
Каких страстей ты хочешь вечных,
Каких ты хочешь вечных прав?

Напрасных благ не ожидай!
Живи, кружась под эти звуки,
И тайных ран глухие муки
Не раздражай, а усыпляй!

Когда ж красавица пройдет
Перед тобой под маской черной
И руку с нежностью притворной
Многозначительно пожмет, —

Тогда ослепни и нылай!
Лови летучие мгновенья
И на пустые уверенья
Минутным жаром отвечай!

1845

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Соловей поет в затишье сада;
Огоньки потухли за прудом;
Ночь тиха. — Ты, может быть, не рада,
Что с тобой остался я вдвоем?

Я б и сам желал с тобой расстаться;
Да мне жаль покинуть ту скамью.
Где мечтам ты любишь предаваться
И внимать ночному соловью.

Не смущайся! Ни о том, что было,
Ни о том, как мог бы я любить,
Ни о том, как это сердце ныло, —
Я с тобой не стану говорить.

Речь моя волнует и тревожит...
Веселее соловью внимать,
Оттого что соловей не может
Заблуждаться и, любя, страдать...

Но и он затих во мраке ночи,
Улетел, счастливцев, на покой...
Пожелай и мне спокойной ночи
До приятного свидания с тобой!

Пожелай мне ночи не заметить
И другим очнуться в небесах,
Где б я мог тебя достойно встретить.
С соловьиной песнью на устах!

1845

УТРО

Вверх, по недоступным
Крутизнам встающих
Гор, туман восходит
Из долины цветущих;

Он, как дым, уходит
В небеса родные,
В облака свиваясь
Ярко-золотые —
И рассеиваясь.

Луч зари с лазурью
На волнах трепещет;
На востоке солнце,
Разгораясь, блещет.

И сияет утро,
Утро молодое...
Ты ли это, небо
Хмурое, ночное?

Ни единой тучки
На лазурном небе!
Ни единой мысли
О насыщном хлебе!

О, в ответ природе
Улыбнись, от века
Обреченный скорби
Гений человека!

Улыбнись природе!
Верь знаменованью:
Нет конца стремленью —
Есть конец страданью!

1845

ГРУЗИНКА

Вчера грузинку ты увидел в первый раз
На кровле, устланной коврами,
Она была в шелку и в галуах, и газ
Прозрачный вился за плечами.
Сегодня, бедная, под белую чадрой,
Скользя тропинкою нагорной,
Через пролом стены, к ручью, над головой
Она несет кувшин узорный.
Но не спеши за ней, усталый путник мой, —
Не увлекись пустым мечтанием!
Мираж не утолит томящей жажды в зной
И не навевет снов журчаньем.

16 июля 1846

ЗАТВОРНИЦА

В одной знакомой улице —
Я помню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном.
Там огонек, как звездочка,
До полночи светил,
И ветер занавескою
Тихонько шевелил.
Никто не знал, какая там
Затворница жила,
Какая сила тайная
Меня туда влекла,
И что за чудо-девушка
В заветный час ночной
Меня встречала бледная,
С распущенной косой.
Какие речи детские
Она твердила мне:
О жизни неизведанной,
О дальней стороне.
Как не по-детски пламенно,
Прильнув к устам моим,
Она, дрожа, шептала мне:
«Послушай, убежим!»

Мы будем птицы вольные —
Забудем гордый свет...
Где нет людей прощающих,
Туда возврата нет...»
И тихо слезы капали —
И поцелуй звучал —
И ветер занавескою
Тревожно колыхал.

20 июля 1846
Тифлис

ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ¹

Посв. Г. П. Данилевскому

Он у каменной баши стоял под стеной;
И, я помню, на нем был кафтан дорогой;
И мелькала, под красным сукном,
Голубая рубашка на нем...
Презирайте за то, что его я люблю!
Злые люди, грозите судом, —
Я суда не боюсь и вины не таю!

Не бросай в меня камнями!..
Я и так уже ранена...

Золотая граната растет под стеной;
Всех плодов не достать никакою рукой;
Всех красивых мужчин для чего
Стала б я привораживать! Но
Приютила б я к сердцу, во мраке почей
Приголубила б только его —
И уж больше любви мне не нужно ничьей!

¹ Татарская песня эта была доставлена покойным Абаз-Кули-Ханом одному польскому поэту, Лада-Заблону-кому. Он перевел эту песню по-польски, прозой; я — как умел, русскими стихами...

Не бросай в меня камнями...
Я и так уже ранена...

Разлучили, сгубили нас горы, холмы
Эриванские! Вечно холодной зимы
Вечным снегом покрыты оне!
Говорят, на чужой стороне
Девы Грузии блеском своей красоты
Увлекают сердца... Обо мне
В той стране, милый мой, не забудешь ли ты?

Не бросай в меня камнями!..
Я и так уже ранена...

Говорят, злая весть к нам оттуда пришла:
За горами кровавая битва была;
Там засада была... Говорят,
Будто наших сарбазов¹ отряд
Истреблен ненавистной изменою... Чу!
Кто-то скачет... коньята стучат...
Пыль столбом... я дрожу и молитву шепчу...

Не бросай в меня камнями!..
Я и так уже ранена...

1846

¹ Сарбазы — персидские солдаты.

ПРОГУЛКА ПО ТИФЛИСУ

(Письмо к Льву Сергеевичу Пушкину)

Как полдень — так у нас стреляет пушка.
Покуда эхо гул свой тяжело по горам
Разносит, молча вынимая
Часы, мы наблюдаем: стрелка часовая
Ушла или верна по солнечным часам?
Потом до двух — мы заняты делами;
Но так как все они решаются не нами,
Спокойно можем мы обедать — есть плоды
И жажду утолять, не трогая воды.
В собрание пусто: членов неперменных
Четыре человека каждый день
Встречать наскучило; читать газеты лень;
Журналы запоздали; нет военных;
Все в экспедиции, — и там пока в горах,
Не дальше, может быть, как только в ста
верстах,
Идет резня (Шамиль воюет),
Для нас решительно войны не существует.
После обеда мы играем роль богов,
И, неспособные заняться даже вздором,
Завесив окна коленакором,
Лежим...

Кто развалившись на диване,
Кто растянувшись на ковре...
Воображать себя заснувшим в теплой бане —
Приятно, потому что на дворе
Невыносимо жарко. — Мостовая,
Где из-под ног вчера скакала саранча,
Становится порядком горяча
И жжет подошву. — Солнце, раскаляя
Слон окрестных скал, изволит наконец
Так натопить Тифлис, что еле дышишь,
Все видишь, не глядя, и, слушая, не слышишь;
Когда-то ночь придет! — дождемся ли, творец! —
Вот ночь не ночь — а все же наконец
Пора очнуться. — Тихий, благодатный
Нисходит вечер, час, весьма благоприятный,
Для той прогулки, от которой ждать
Отрады — первая в Тифлисе благодать.

Куда ж идти? Иду через Мухранский
Овражный мост, и прямо на Армянский
Базар являюсь, — там народ,
Поднявшись на заре, для дел, нужды и лени
На узких тротуарах ищет тени,
Гуляет, спит, работает и пьет. —
Народ особенный! Я здесь люблю толкаться —
И молча наблюдать — и молча любоваться
Картинами, каких, конечно, никогда
Мне прежде видеть не случалось;
Их не видать — невелика беда.
Но видеть весело, пока не стосковалась
Душа по тем степям, которых вид один,
Бывало, наводил тоску и даже силни.

Но... я не знаю, что, — привычка, может статься,
Бродя в толпе, на лицах различать
Следы разврата, бедности безгласной
Или корысти слишком ясной,
Невежества угрюмую печать
Убавила во мне тот жар напрасный,
С которым некогда я рад был вопрошать
Последнего из всех забытых нами братьев.
Я знаю, что нужда не в силах разделять
Ни чувств насыщенных, ни развитых понятий,
Что наша связь давно разорвана с толпой,
Что лучшие мечты — источники страдания —
Для благородных душ остались мечтой...
Итак, чтоб не входить в бесплодные мечтанья,
Я поскорей примусь за описание. —
С чего начать?! . Представьте, я брожу
По улицам — а где, и сам не знаю,
Тифлис оригинальным нахожу,
По крайней мере не скучаю;
Представьте, наконец, — я в улицу вхожу
Кривую, тесную — под старыми домами
Направо и налево лавок ряд —
Вот караван-сарай, восточными коврами
Увешан пыльный вход, узоры их пестрят —
Но я иду от них сквозными воротами
На низкий дворик, устланный плитами,
С бассейном без воды, и слышу, как шумит
Волна в Куре, — куда она спешит,
Неугомонная, живая?..
Не знает, что вдали от этих берегов
Ей не видать других цветущих городов,
Как не видать земного рая!

Что никогда оттуда, где шумят
Каспийские валы, гнилой камыш качая,
К решеткам караван-сарая
Не воротится ей назад!
Спешу на улицу — и вижу виноград
Висит тяжелыми, лиловыми кистями,
Поспел — купите фунт — бакальщик рад...
Вот перец и миндаль, а вон табак турецкий
Насыпан кучами — кальяны — чубуки —
Кинжалы — канауэ — бумажные платки,
Товар персидский и замоскворецкий!
Дешевый все товар из самых дорогих!

Иду я дальше; множество портних
Сидят на низеньких подмостках в меховых
Остроконечных шапках, рукава уютжат,
Обводят обшлага черкески заказной
Иль праздничной чухи¹ тесьмой золотой,
Усердно шьют — и мне усердно служат:
Из медных утюгов огонь я достаю,
Чтоб тут же закурить потухшую мою
Сигару, — здесь курить начальство позволяет;
Пожаров никогда в Тифлисе не бывает,
В Тифлисе просто печему гореть,
Здесь только можно загореть,
Что, вероятно, всякий знает.
Вот, вижу я, цирюльня, у дверей
Круглится голова; поджав босые ноги,
Сидит благочестивый на пороге
Татарин, голову его бородобрей

¹ Ч у х а — грузинский кафтан с откидными рукавами.

Нагнул поближе к свету — выбрил — поскорей
Тряпицей вытер — и к окошку
Сушить повесил грязную ветошку. —
Чего ж вам больше!.. Вот кофейня, два купца —
Два персиянина играют молча в шашки,
Хозяин смотрит, сумрачный с лица,
А между тем бичо¹ переменяет чашки.
В пяти шагах, желая аппетит
Свой утолить у небольшой харчевни,
Сошлись работники, грузины из деревни;
Котлы кипят — горячий пар валит —
Лепешек масляных еще дымятся глыбы,
Кувшин с вином под лавкою стоит,
А с потолка висят хвосты колченой рыбы.
Вот на полу какой-то кладовой
(Вы здешние дома, конечно, не забыли)
Два армянина, завязав от пыли
Глаза платком, натянутой струной
Персбивают шерсть. Насупротива, у лавки,
Где как-то меньше толкотни и давки,
Уселся на скамье худой, невзрачный жид
И на станке тесьму и позументы
Прилежно ткет; за ним, на сундуке,
Откинув рукава, сидит в архалуке
Меняла, в сладостной надежде на проценты!

Но вот базар еще теснее —
Разноплеменная толпа еще пестрее.
Я слышу скрип и шум и крики — хабарда!²
Вот нищий подошел ко мне, склоняясь на посох;

¹ Бичо — по-грузински мальчик.

² Хабарда — берегись!

Вот буйволы идут, рога свои склоняя;
Тяжелая арба скрипит на двух колесах;
Вот скачет конь, упрямого коня
Стегает плеть; налево, с бурдюками,
Знать, из Кахетии с вином,
Дощатый воз плетется, и на нем
Торчит вознича с красивыми усами.¹
А вон ослы вразброд идут,
В кошелках угляя несут
И машут длинными ушами;
На одного из них уселись верхом
В лохмотьях два полунагих ребенка,
А третий сзади глупого осленка
Немилосердно бьет хлыстом...

Тифлис для живописца есть находка.
Взгляните, например: изорванный чекмень,
Башлык, нагая грудь, беспечная походка,
В чертах лица задумчивая лень,
Кинжал — и странное в глазах одушевленье!
Вот, например, живое воплощенье
Труда — мушá² по улице идет;
Огромный шкаф, перекрестив ремнями,
Он на спину взвалил и медленно несет,
Согнувшись в угол, пот ручьями
По загорелому лицу его течет,
Он исподлобья смотрит и дает
Дорогу... Не могу дорисовать картины! —
Представьте, что в глазах мешаются ослы,

¹ На Востоке есть обычай красить себе бороду и усы.

² Мушá — носильщик.

Ковры, солдаты, буйволы, грузины,
Муши, балконы, осетины,
Татары — наконец я слышу крик муллы —
И наконец под минаретом
Свожу знакомство с новым светом —
И чувствую, что на чужом пиру...
Налево мост идет через Куру,
А воп крутой подъем к заставе Эриванской;
Вот, вижу, караван подходит шемаханский;
Как великан, идет передовой верблюд,
За ним гуськом его товарищи идут —
Раздули ноздри и глядят слесиво;
Их шеи длинные навывтяжку стоят,
На них бубенчики пестройные звенят,
С горбов висит космами грива;
Огромные туки качая на спине,
Рабы Востока тяжестию ноши
Гордятся и блаженствуют вполне;
А я глотаю пыль — иду — и в стороне
Вдруг слышу — деревянные подкоши¹
Стучат — идет татарка в белой простыне;
Толпа грузинских жен спешит укрыться в бане,
А я спешу назад — спешу куда-нибудь,
Чтоб только чистым воздухом дохнуть,
Что невозможно на Майдане.²
Где я — творец! — какие там сидят
Фигуры на стенах! — перебирают четки —
И неподвижно вниз глядят;
Внизу овраг — на дне его шумят

¹ Подкоши — башмаки без задков.

² Майдан — базарная площадь.

Горячие ключи. — Неужели назад
Идти?.. Ого! над самой головою
Я слышу разговор, а может быть, и брань —
Но... пусть бранят! — теперь передо мною
Открылся чудный вид. Отсюда, из-за баиь,
Мне виден замок за Курою...
И мнится мне, что каменный карниз
Крутого берега, с нависшими домами,
С балконами, решетками, столбами,
Как декорация в волшебный бенефис,
Роскошно освещен бенгальскими огнями.
Отсюда вижу я — за синими горами
Заря, как жертвенник, пылает, и Тифлис
Приветствует прощальными лучами.
О, как блистательно проходит этот час!
Великолепная для непривычных глаз
Картина! Вспомните всю массу этих зданий,
Всю эту смесь развалин без преданий —
Домов, построенных, быть может, из руин,
Садов, опутанных ветвями винограда,
И этих куполов, которых вид один
Напомнит вам предместья Цареграда,
И согласитесь, что нарисовать
Тифлис не моему перу. — К тому ж, признаться,
Мне самому пришлось недолго любоваться;
Я как-то вздумал догадаться,
Что на чужом дворе невыгодно стоять:
Где улица, где двор, в иных местах Тифлиса
Не разберешь...

Но вот уж сумерки сгущаются в глуши
Садов — и застилают переулки;

В глухие, дальние забрел я закоулки —
И ни одной мужской души!
Вот женщина взошла на низенькую кровлю;
Вдали звучит протяжная зурна —
Как видно, здесь крикливую торговлю
Семейная сменила тишина.
Вот у калитки две старухи...
Сошлись и шепчутся и городские слухи
Передают друг другу. Вон скамья
Стоит никем не занятая,
Меж тем как на земле почтенная семья
Сидит, беспечно отдыхая...

Не стану женщин вам описывать наряд,
Их легкое, как воздух, покрывало,
Косицы черные и любопытный взгляд,
В котором много блеску, жизни мало...
Повсюду я спешу ловить
Рой самых свежих впечатлений;
Но, признаюсь вам, надо жить
В Тифлисе — наблюдать — любить —
И ненавидеть, чтоб судить
Или дожидаться вдохновений...

1846

НИЩИЙ

Знавал я нищего: как тень,
С утра, бывало, целый день
Старик под окнами бродил
И подаянни просил...
Но все, что в день ни собирал,
Бывало, к ночи раздавал
Больным, калекам и слепцам —
Таким же нищим, как и сам.

В наш век таков иной поэт.
Утратив веру юных лет,
Как нищий старец изнурен,
Духовной пищи просит он. —
И все, что жизнь ему ни шлет,
Он с благодарностью берет,
И душу делит пополам
С такими ж нищими, как сам...

1847

ГОРНАЯ ДОРОГА В ГРУЗИИ

Вижу, как тяжок мой путь,
Как бесполезен мой повод!
Кони патужили грудь,
Солнце печет, жалит овод.

Что ты, лихой проводник,
Сверху кричишь мне: за мною!
Ты с малодетства привык
Рыскать с ружьем за спиною.

Я же так рано устал!
Скучны мне виды природы —
Остовы глинистых скал,
Рощей поникшие своды!

Глухо, безлюдно кругом...
Тяжко на эти вершины,
Вечным объятые сном,
Облокотились рунны.

Снят!.. и едва ли от них
Странник дожидется ответа!
Вряд ли порадует их
Голос родного привета!

Нет ли? — скажи, проводник, —
Нет ли преданья?! — Рукою
Шапку надвинул старик
И покачал головою.

Вижу — потоки бегут —
Книзу проносится пена,
Через потоки бредут
Кони, в воде по колена.

Рад бы и я утолить
Жажду — в тени приютиться.
Рад бы с коня соскочить —
Руки сложить и забыться.

Некуда спрыгнуть с седла!
Слева — отвесные стены,
Справа — деревья и мгла,
Шум и сверканье пены.

Рад бы помчаться стрелой!
Рад бы скакать! — невозможно!
Конь мой идет осторожно,
Пробует камни ногой.

И осторожность заслуга!
Конь мой собой дорожит.
Вот поднимается с юга
Ветер, — пустыня шумит,
Мне же далекого друга
Голос как будто звучит.

«Друг мой! зачем ты желаешь
Лучших путей? путь один...»
Ну, кони! иди сам как знаешь,
Здесь я не твой господин!

1877

ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ

Всякий раз, как под буркой, порою ночной,
Беспробудно я сплю до звезды заревой,

Три видения райских слетают ко мне —
Три красавицы чудных я вижу во сне.

Как у первой красавицы очи блестят,
Так и звезды во мраке ночном не горят;

У второй, как поднимет ресницы свои,
Очи зорко глядят, как глаза у змеи.

Никогда не была ночь в горах так темна,
Как у третьей темна черных глаз глубина.

И когда на заре улетает мой сон,
Не вставая, гляжу я в пустой небосклон —

Все гляжу да все думаю молча о том:
Кабы деньги да деньги, построил бы дом!

Окружил бы его я высокой стеной,
Заклучил бы я в нем трех красавиц со-
мной —

От утра до утра им бы песни я пел!
От зари до зари им бы в очи глядел!

< 1545 >

ГРУЗИНСКАЯ НОЧЬ

Грузинская ночь — я твоим упиваюсь дыханьем!
Мне так хорошо здесь под этим прохладным
навесом,
Под этим навесом уютной нацваловой¹ сакли.
На мягком ковре я лежу под косматою буркой,
Не слышу ни лая собак, ни ослиного крику,
Ни дикого пенья под жалобный говор чингури.²
Заснул мой хозяин — потухла святильня
в железном
Висячем ковше... Вот луна! — и я рад, что
сгорело
Кунжутное³ масло в моей деревенской лампаде...
Иные лампы зажглись, я иную гармонию
слышу.
О боже! какой резонанс! Чу! какая-то птица —
Ночная, болотная птица поет в отдаленьи...
И голос ее, точно флейты отрывистый, чистый,
Рыдающий звук — вечно та же и та же
В размер повторенная нота, — уныло и тихо
Звучит. — Не она ли мне спать не даст! Не
она ли

¹ Нацвал — деревенский староста.

² Чингури — струнный инструмент.

³ Кунжут — растение.

Напела мне на душу грусть! Я смыкаю ресницы,
А думы несутся одна за другой, беспрестанно,
Как волны потока, бегущего с гор по ущелью,
Но волны потока затем ли бегут по ущелью,
Чтоб только достигнуть предела и слиться
с волнами

Безбрежного моря! — нет, прежде чем моря
достигнуть,

Они на долину спешат, напоить виноградные лозы
И нивы — надежду древнейшего в мире народа.
А вы, мои думы! вы, прежде чем в вечность
Умчитесь, в полете своем захватив мириады
Миров, — вы скажите, ужель суждено вам
Носиться бесплодно над этою чудной страной.
Так страстно любимую солнцем и — выжженной
солнцем!

< 1945 >

ТАТАРКА

На коне, в тени черешни,
Я стою — смотрю, как веший
Ветерок волнует рис;
По дороге ехать жарко —
Ни души — одна татарка
По оврагу сходит вниз.

Вот сошла — и у канавы
На обломок серой лавы
Ставит кованый кувшин;
Подбоченилась лениво
И косится боязливо:
Нет ли около мужчин.

Я заметил беспокойный
Взгляд — щеки румянец знойный —
Черный локоп у виска.
О аллах! в твоей пустыне
Я подобного доньше
Не видал еще цветка!

Но татарка встрепенулась
И пугливо завернулась
Рубяндой¹ своей концом.

¹ Рубянда или рубанда — женская повязка, закрывающая лицо до самых глаз.

Торопливо придержала
Свой кувшин и грубо стала
От меня назад лицом.

Неучтив обычай края!
Но, обычай проклиная,
Быть в долгу я не хочу.
(Может быть, догадлив был я.)
Сам себе лицо закрыл я
Пыльной шапкой и — скачу.

Впрочем, как не обернуться!
Вижу (как не улыбнуться!) —
На меня она глядит —
И смеется — вот уловка!
Догадалася плутовка,
Что никто не сторожит!

< 1848 >

В ИМЕРЕТНИ

Царя Вахтанга¹ ветхие страницы
Перебирая в памяти моей,
Иду я в терем доблестной царицы,
В развалину — приют неведомых теней.
Уже заря, как зарево пожара,
На гребни темных скал бросает жаркий свет!
Заря, леса и скалы!.. О Тамара!
Не здесь ли пел твой пламенный поэт!
Дыша, я чувствую, что здесь земля — кладбище,
А небеса — покров почивших царей;
И между тем нигде природа, как жилище
Творца, не может быть ни лучше, ни пышней.
Кругом, как божия ограда,
Заоблачный хребет далеко манит взор,
Там свят леса под говор водопада;
А здесь миндаль, и лозы винограда,
И дикого плюща живой ковер.
О, здесь бы жить — любить и наслаждаться;
Но по горам какой-то демон злой,
Блуждая, не дает ни сердцу забываться.
Ни бедный ум согреть мечтой. —
Незримый дух! Он всюду бьет тревогу;

¹ Царь Вахтанг — грузинский летописец.

Везде кричит: сюда, сюда!
 Здесь нужно вам в скалах пробить дорогу!
 Здесь реку запрудить! там строить города!
 Никто не жнет плодов, не сея! —
 Ужасный дух! от каждого пигмея
 Готов он требовать гигантского труда!
 Тамары нет... О Русь! еще ли ты не в силах,
 Поднявши меч и заступ и топор,
 Развить и жизнь и мысль на царственных
 могилах,
 Чтоб успокоить духа гор!

< 1918 >

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Вчера к развалинам, вдоль этого ущелья,
 Скакали всадники — и были зажжены
 Костры — и до утра был слышен гул веселья —
 Пальба, и барабан, и вой зурны.

Из уст в уста ходила азарпеша,¹
 И хлопали в ладоши сотни рук.
 Когда ты шла, Майкó, сердца и взоры теша,
 Плясать по выбору застенчивых подруг.

Сегодня вновь безлюдное ущелье
 Глядит пустыней, — мирная пальба
 Затихла — высалось похмелье —
 И съехала с горы последняя арба!

Не все же праздновать! веселый мир народный
 Прошел, как сон... Так некогда любовь
 Моя прошла; был сердца благородный
 Простыл, давно простыл; но не простыла кровь!

Как после праздника в глотке вина отраду
 Находит иногда гуляка уладой,

¹ Азарпеша — чайка для вина.

Так рад я был внимательному взгляду
Моей Майкó, плясуньи молодой!

Что ж медлю я... Бичо! ты, конюх мой
проворный!

Коня!! — Ее арбу два буйвола с трудом
Везут. Догоним... Вон играет ветер горный
Катибы¹ бархатной пунцовым рукавом.

<1849>

НЕ ЖДИ

Я не приду к тебе... Не жди меня! Недаром,
Едва потухло зарево зари,
Всю ночь зурна звучит за Авлабаром,¹
Всю ночь за банями поют сазандари.²

Здесь теплый свет луны позолотил балконы,
Там углубились тени в виноградный сад,
Здесь тополи стоят, как темные колонны,
А там, вдали, костры веселые горят, —

Пойду бродить! Послушаю, как льется
Нагорный ключ во мгле заснувших Саллалак,³
Где звонкий голос твой так часто раздается,
Где часто, вижу я, мелькает твой личак.⁴

Не ты ли там стоишь на кровле под чадрою,
В сияньи месячном?! — Не жди меня, не жди! 1
Ночь слишком хороша, чтоб я провел с тобою
Часы, когда душе простора нет в груди;

1 Авлабар — часть города Тифлиса.

2 Сазандар — певец.

3 Саллалаки — юго-западная часть Тифлиса.

4 Личак — головной убор грузинки, в виде длинной вуали, обыкновенно откинутой назад.

1 Катйба — женская одежда с откидными рукавами.

Когда сама душа — сама душа не знает,
Какой любви, каких еще чудес
Просить или желать, — но просит — но желает —
Но молится пред образом небес.

И чувствует, что уголок твой души,
Что не тебе моим молениям отвечать, —
Не жди! я в эту ночь к соблазнам равнодушен —
Я в эту ночь к тебе не буду ревновать.

<1849>

КАХЕТИНЦУ¹

Я знаю, там, за вашими горами,
По старине, в саду, в тени кудрявых лоз,
Ты любишь пить с веселыми гостями
И уставлять ковры букетами из роз!

И весело тебе, когда рабы собирают
Ваш виноград — когда по целым дням
В давильных толкотня — и мутные стекают
Струи вина, журча по длинным желобам...

Ты любишь пулями встречать гостей
незванных —
Лезгин, из ближних гор забравшихся в сады,
И любишь гарцевать, когда толпой на рьяных
Конях спешите вы на пир в Аллаверды.

И весело тебе, что твой кинжал с насечкой,
Что меткое ружье в оправе дорогой
И что твой конь звенит серебряной уздечкой,
Когда он ржет и пляшет под тобой.

И любишь ты встречать неведомый доныне,
В теплицах Севера воспитанный цветок;

¹ Князю Д. А. Чавчавадзе, брату Н. А. Грибосодовой.

Она¹ у вас теперь цветет в родной долине,
И не скрывается, чтоб каждый видеть мог,

Чтоб каждый мог забыть, смотря
с благоговеньем
На кроткие небесные черты,
И праздность — и вино с его самозабвеньем —
И месть — и ненависть — и буйные мечты.

<1849>

¹ Княгиня А. И. Чапчавадзе, урожденная княгиня Грузинская.

АГБАР

1

Врадется ночью татарин Агбар
К сакле, заснувшей под тенью чинар.

Вот миновал он колючий плетень;
Видит, на сакле колышется тень.

Как не узнать ему — даром что ночь, —
Как не узнать Агаларову дочь!¹

Мрачно. В ауле огней не видать;
Лютые псы перестали ворчать.

Ясные звезды потупили взор,
Слушают звезды ночной разговор.

«Солнце мое! — стал Агбар говорить. —
Я за тебя рад себя погубить!» —

«Что ж ты! зачем не украдешь меня?» —
«Рад бы украл я. — да нету коня...»

¹ Агалары — татары помещики.

Завтра пошлю я к отцу твоему,
Бедный калым¹ предложу я ему.

Двадцать последних монет серебра,
Пару волов, два узорных ковра...» —

«Тише!.. Прощай!» — И во мраке чинар
Скрылся проворный татарин Агбар.

2

Солнце печет темя каменных гор.
Голову клонит на мягкий ковер

И отдыхает под тенью чинар
В шапке косматой старик Агалар.

Неподалеку, в закрытых сенях,
Жены мотают шелки на станках.

Возле на камне старуха сидит,
Сдвинула брови и в землю глядит.

«Пару волов? У меня тридцать пар!
Что мне волы! — говорит Агалар. —

Мало ли есть у князей табунов!
Мало ли там дорогих жеребцов!

Пусть уведет он, хоть в эту же ночь,
Пару коней — я отдам ему дочь.

¹ Калым — подарки жениха отцу невесты.

Знаю, недавно проехал в Ганжу¹
Русский чиновник, а кто — не скажу.

Есть у него дорогое ружье...
Если ружье это будет мое.

Если украдет хоть в эту же ночь,
Пусть принесет — я отдам ему дочь.

Мало того, есть купец армянин...
Деньги везет, — едет сдуру один...»

И, усмехнувшись, лукавый старик
Начал дремать — головою поник.

Встала старуха, накрылась чадрой
И поплелась потихоньку домой.

3

Светит луна, как далекий пожар;
Ветер качает вершины чинар;

Листья чинар беспокойно шумят;
Лютые псы у соседа ворчат.

Вновь на свиданье Агбар удалой
Крадется к сакле знакомой тропой.

Жаркое сердце забилося в груди —
Кто мог шеннуть ей: красавица, жди!

¹ Ганжа — гбр. Елисаветполь.

Ясные звезды потупили взор —
Слушают звезды ночной разговор:

«Где пропал ты? возлюбленный мой!» —
«Я не пропал — я пришел за тобой». —

«Каждую ночь я ходила сюда...
Милый! скажи мне — какая беда?» —

«В эту неделю украл я коня;
Добрый товарищ нас ждет у плетня;

В эту неделю украл я ружье;
Да не в ружье все богатство мое!

Им я убил армянина купца...
Деньги достал по совету отца.

Им я отца я убью в эту ночь,
Если украсть помешает мне дочь...»

< 1949 >

ИМЕРЕТИН

О! было время, труд полезный
Имеретин позабывал.
Меня плуг и серп железный
На ружья, шашку и кинжал.

Вражда стучалась в наши двери,
Мы прятались куда кто мог,
Иль, кровожадные, как звери
Шли на врага, взведя курок.

Костры сигнал нам подавали, —
По высотам сторожевым
Мы ночью зарева искали,
А днем разглядывали дым.

Нас ночью глушь лесов пугала;
На страже сидя у дверей,
Мы принимали плач шакала
За плач украденных детей.

Как часто ветра шум привольный,
Треск сучьев, лошадиный топ —
Меня бросал то в жар невольный,
То в лихорадочный озноб.

В ножи играли дети наши
И бегали обнажены.
И, дна не видя горькой чаши,
Не ждали мы конца войны.

И равнодушно мы сносили
Наш плен и наш позор, когда
Красавиц наших уводили
На трапезонтские суда.

Мы знали, дома ждал их голод;
Мы знали, брачную постель
Их замела бы в зимний холод
Неугомонная метель.

Жилища наши стали бедны,
И обеднели алтари,
Где перед битвами молебны
Служили некогда цари.

Но, закаленные бедами,
Не закалили мы сердец.
Как пад младенцами, над нами
Небесный сжалился отец.

Потухло зарево пожаров,
Угмонилася вражда;
Пленно-продавцев янычаров
Исчезли грозные суда.

Единоверному народу
Вручили мы свою судьбу,

Он дал нам полную свободу
Начать бескровную борьбу —

Борьбу с сохой, борьбу с лопатой,
С шелкомотальным колесом...
И стал богат наш дом дощатый
Мотками шелку и вином.

Рубли в карманах завелися,
Висят замки на сундуках,
И с песнями до Кутаиса
Мы русских возим в каюках.

1849

НОЧЬ

Отчего я люблю тебя, светлая ночь, —
Так люблю, что страдая люблюсь тобой!
И за что я люблю тебя, тихая ночь!
Ты не мне, ты другим посылаешь покой!..

Что мне звезды — луна — небосклон — облака —
Этот свет, что, скользя на холодный гранит,
Превращает в алмазы росинки цветка
И, как путь золотой, через море бежит?
Ночь! за что мне любить твой серебряный свет!
Усладит ли он горечь скрываемых слез,
Даст ли жадному сердцу желанный ответ,
Разрешит ли сомненья тяжелый вопрос!

Что мне сумрак холмов — трепет сонных листьев —
Моря темного вечно шумящий прибой —
Голоса насекомых во мраке садов —
Гармонический говор струи ключевой?
Ночь! за что мне любить твой таинственный шум!

Освежит ли он знойную бездну души,
Заглушит ли он бурю мятежную дум —
Все, что жарче впотьмах и слышнее в тиши!

Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, —
Так люблю, что страдая люблюсь тобой!
Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, —
Оттого, может быть, что далек мой покой!

30 августа 1850.

Массандра, на южном берегу Крыма

КАЧКА В БУРЮ

(Посв. М. Л. Михайлову)

Гром и шум. Корабль качает;
Море темное кипит;
Ветер парус обрывает
И в снастях свистит.

Помрачился свод небесный,
И, вверяясь кораблю,
Я дремлю в каюте тесной...
Закачало — сплю.

Вижу я во сне: качает
Няня колыбель мою
И тихонько запекает —
«Баюшки-баю!»

Свет лампы на подушках;
На гардинах свет луны...
О каких-то все игрушках
Золотые сны.

Просыпаюсь... Что случилось?
Что такое? Новый шквал? —
«Плохо — стеньга обломилась,
Рулевой упал».

Что же делать? что могу я?
И, вверяясь кораблю,
Вновь я лег и вновь дремлю я...
Закачало — сплю.

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен, мечты кипят...
От зари роскошный холод
Проникает в сад.

Скоро ночь — темнеют ели...
Слышу ласково-живой,
Тихий лепет: «На качели
Сядем, милый мой!»

Стан ее полувоздушный
Обвида моя рука,
И качается послушно
Зыбкая доска...

Просыпаюсь... Что случилось? —
«Руль оторван; через нос
Вдоль волна перекатилась,
Унесен матрос!»

Что же делать? Будь что будет!
В руки бога отдаю:
Если смерть меня разбудит —
Я не здесь проснусь.

Сентябрь 1850.
Пароход «Тамань»

Не мой ли страсти
Поднимают бурю?
С бурями бороться
Не в моей ли власти.

Пронеслася буря —
И дождем и градом
Пролилася туча
Над зеленым садом.

Боже! на листочках
Облетевшей розы
Как алмазы блещут
Не мой ли слезы?

Или у природы,
Как у сердца в жизни,
Есть своя улыбка
И свои невзгоды?

1850

ТАМАРА И ПЕВЕЦ ЕЕ ШОТА РУСТАВЕЛЬ

В Замке Роз,¹ под зеленою сенью плющей,
В диадеме, на троне Тамара сидит.
На мосту слышен топот коней;
Над воротами сторож трубит;
И толпа ей покорных князей
Собирается к ней.

О внезапной войне им она говорит —
О грозе, что с востока идет,
И на битву их шлет,
И ответа их ждет,
И как солнце красою блещит.
Молодые вожди, завернув в башлыки
Свои медные шлемы, стоят —
И внимают тому, что отцы старики
Ей в ответ говорят.

В их толпе лишь один не похож на других —
И зачем во дворце,
В византийской одежде, мечтательно тих,
В это время явился певец?

¹ Замок Роз — по-грузински Вардис-цихе, развалины его недалеко от Кутаиса.

Не царицу Иверии в сонме князей —
Божество красоты молча видит он в ней,
Каждый звук ее голоса в нем
Разливается жгучим огнем,
Каждый взгляд ее темных очей
Зарождает в нем тысячу змей,
И, восторженный, думает он:
Не роскошный ли видит он сон...
И какой нужно голос иметь,
Чтоб Тамару воспеть?..

Вдохновенным молчаньем своим
Показался он странен другим.
И упал на него испытующий взгляд,
И насмешки мучительный яд
В его сердце проник — и, любовью палим
И тоскою томим,
Из дворца удалиться он рад.

Отпустили толпу; сторож громко трубит;
На мосту слышен топот копыт;
На окрестных горах зажжены
Роковые сигналы войны —
И гонцы, улетая на борзых конях,
Исчезают в окрестных горах...

С грустной думой Тамара на троне сидит —
Не снимает Тамара венца —
Провожает глазами толпу — и велит
Воротить молодого певца.

И послышался царственный голос жены:
«Руставель! Руставель! ты один из мужей

Родился не в защиту страны:
Кто не любит войны —
Не являйся мне в сонме князей.
Но ты любишь дела и победы мои, —
Я готова тебя при дворе принимать.
Меньше пой о любви —

О безумной любви — и тебя награждать
Я готова за песни твои».
И, бледнея, поник Руставель головой
Перед гордой царицей обширных земель,
И, смутившись душой,
Как безумец, собой
Не владея, сказал Руставель:

«О царица! чтоб не был я в сонме князей,
Навсегда удалиться ты мне повели,
Все равно! образ твой
Унесу я с собой
До последних пределов земли.
Буду петь про любовь — ты не станешь
внимать;

Но клянусь! на возвышенный голос любви
Звезды будут лучами играть,
И пустыня, как нежная мать,
Мне раскроет объятия свои!

Удаляюсь — прости! Без обидных наград
Довершу я создание мое;
Но его затвердят
Внуки наших внучат —
Да прославится имя твое!»

12 февраля 1851

КН. С. А. Г—НОЙ

У нее, как у гитаны,
Взгляд как молния блесит;
Как у польской резвой панны,
Голос ласково звучит;
Как у юноши от раны,
Томен цвет ее ланит.

Есть возможность не влюбиться
В красоту ее очей,
Есть возможность не смутиться
От приветливых речей,
Но других любить решиться
Нет возможности при ней.

5 марта 1851

В ИМЕРЕТИИ

Риона шум и леса тень,
Плещ, виноград и цвет граната,
Прохладный ключ и знойный день,
И воздух, полный аромата,
Кругом лесистые холмы,
Хребты, покрытые снегами, —
Надолго ль встретились мы?
Надолго ль я останусь с вами?

Или, как мимолетный сон,
Мелькнули вы передо мною —
И мне уже определен
Безвестный путь... или судьбою
Мне будет снова суждено
Сюда надолго возвратиться —
И тем, что временно дано,
Уже навеки насладиться?

И не того бы я хотел...
На лоне матери-природы
В труде разумном бы провел
Я увядающие годы,
И здесь иные семена,
Иные мысли б я посеял;

Тебя бы, дивная страна,
В уме и сердце я лелеял!

Когда же под безвестный кров
Зайдет земляк с страны родимой —
Его б в тени моих садов
Встречал я мыслию любимой;
Я б говорил: иди сюда —
Взгляни, как радостно слянье
Природы дивной и труда
Без угнетенья и страданья!

23 мая 1851.
Кутаис

НА ПУТИ ИЗ-ЗА КАВКАЗА

Неприступный, горами заставленный,
Ты, Кавказ, наш воинственный край, —
Ты, наш город Тифлис знойно-каменный,
Светлой Грузии солнце, прощай!

Душу, к битвам житейским готовую,
Я за снежный несусь перевал.
Я Казбек миновал, я Крестовую
Миновал — недалеко Дарьял.

Слышу, Терека волны тревожные
В мутной пене по камням шумят —
Колокольчик звенит — и надежные
Кони юношу к северу мчат.

Выси гор, в облака погруженные,
Расступитесь! — приволье станиц —
Расстилаются степи зеленые,
Я простору не вижу границ.

И душа на простор вырывается
Из-под власти кавказских громад —
Колокольчик звенит-залливается...
Кони юношу к северу мчат.

Погоняй! гаснет день за курганами,
С вышек молча глядят казаки —
Красный месяц встает за туманами,
Недалеко дрожат огоньки —

В стороне слышу карканье ворона —
Различаю впотьмах труп коня.
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня...

II

Ты, с которой так много страдания
Терпеливо я прожил душой,
Без надежды на мир и свидание
Навсегда я простился с тобой.

Но боюсь, если путь мой протянется —
Из родимых полей в край чужой, —
Одинокое сердце оглянется
И сожмется знакомой тоской.

Вспомнит домик твой — дворик, увешанный
Виноградными лозами — тень,
Где, твоим лепетаньем утешенный,
Я вдавался в беспечную лень.

Вспомнит роз аромат над канавою,
Бубня зvon в поздний вечера час.
Твой личак — и улыбку лукавую
И огонь соблазняющих глаз.

Все, что было обманом, изменою,
Что лежало на мне словно цепь,
Все исчезло из памяти с пеною
Горных рек, вытекающих в степь.

10 июня 1851

САТАР¹

Сатар! Сатар! твой плач гортанный —
Рыдающий, глухой, молящий, дикий крик —
Под звуки чанур и трели барабанной
Мне сердце растерзал и в душу мне проник.

Не знаю, что поешь, я слов не понимаю:
Я с детства к музыке привык совсем иной;
Но ты поешь всю ночь на кровле земляной,
И весь Тифлис молчит — и я тебе внимаю,
Как будто издали, с востока, брат больной
Через тебя мне шлет упрек иль ропот свой.

Не знаю, что поешь — быть может, песнь
Кярама,
Того певца любви, кого сожгла любовь;
Быть может, к мести ты взываешь — кровь
за кровь,
Быть может, славил ты кровавый меч
Ислама —
Те дни, когда пред ним дрожали тьмы рабов.
Не знаю — слышу вопль — и мне не нужно слов!

1851

¹ Сатар — имя известного в Тифлисе персидского певца.

СЯТ-НОВА¹

Много песков поглощают моря, унося их
волнами,
Но берега их сыпучими вечно покрыты песками.

Много и песен умчит навсегда невозвратное
время;
Новые встанут певцы, и услышит их новое племя.

Если погибну я, знаю, что мир мои песни забудет;
Но для тебя, нежный друг мой, другого певца
уж не будет.

Если погибну я, знаю, что свет не заметит
утраты;
Ты только вспомнишь те песни, под звуки
которых цвела ты.

Я просветил твое сердце — а ты, ты мой ум
помрачила;
Я улыбаться учил — а ты плакать меня научила.

¹ Сят-Нова — псевдоним одного из армянских певцов прошлого столетия.

Восстав от сна, Тифлис хохочет
Над их оборванной толпой;
Прослыть в народе головой
У нищих каждый нищий хочет, —
Бранятся, спорят и шумят...

Один Гито, в дырявой шапке,
Прикрыв от ветра и дождей
Узлами обветшалой тряпки
Загар нагих своих плечей,
Стоит, свой посох упирая
В заржавый мох могильных плит,
И, грустно говоря внимая,
Молчанье мертвое хранит.

«Гитó, Гитó! скажи хоть слово...
И будь над нами уста-баш!..» —
«Нет, братья! — молвил он сурово. —
Спасибо вам за выбор ваш.

Пусть выбор наш решает счастье:
Я укажу вам дом один,
Где вечно мрачный, как ненастье,
Живет богатый армянин,
Как мы, такой же бессемейный,
Похоронив недавно дочь,
Живет он жизнью келейной,
Считая деньги день и ночь.
Кто, братья, к празднику Христову,
Во имя божеских наград,
Хоть пол-абаза на обнову
Своих изорванных заплат

У скряги выплachtet, — педаром,
Как самый счастливый из нас,
Он будет править всем амкаром,¹
И я послушаюся вас!»

И все в ответ сказали разом:
«Быть по совету твоему!
Навел ты нас на путь, на разум!»
И каждый взял свою суму...

Совет Гитó пропал недаром;
Богатый армянин живет
И до сего дня за базаром,
Гоняя нищих от ворот. —
Гитó улегся на кладбище...
И вот прошло уж много лет
С тех пор... Вай, вай! у братья нищей
Уста-баша все нет как нет!..

1851

¹ Амкар — община, в состав которой входят ремесленники, торговцы и др.

ФИНСКИЙ БЕРЕГ

(Посв. М. Е. Кублицкому)

Лес да волны — берег дикий,
А у моря домик бедный.
Лес шумит; в сырые окна
Светит солнца призрак бледный.

Словно зверь голодный воя,
Ветер ставнями шатает.
А хозяйки дочь с усмешкой
Настежь двери открывает.

Я за ней слежу глазами,
Говорю с упреком: «Где ты
Пропала? Сядь хоть нынче
Доплетать свои браслеты!»¹

И, окошко протирая
Рукавом своим суконным,
Говорит она лениво
Тихим голосом и сонным:

¹ В Финляндии девушки простого класса плетут из волос цепочки, шнурки, браслеты и продают их проезжающим.

«Для чего плести браслеты?
Господину не в охоту
Ехать морем к утру в город,
Продавать мою работу!» —

«А скажи-ка, помнишь, ночью,
Как погода бушевала,
Из сеней укравши весла,
Ты куда от нас пропала?»

В эту пору над заливом
Что мелькало? не платок ли?
И зачем, когда вернулась,
Башмаки твои подмокли?»

Равнодушно дочь хозяйки
Обернулась и сказала:
«Как не помнить! Я на острове
В эту ночь ладью гоняла...»

И сосед меня на камне
Ждал, а ночь была лихая, —
Там ему был нужен хворост,
И ему его свезла я,

На мысу в ночную бурю
Там костер горит и светит;
А зачем костер? — на это
Каждый вам рыбак ответит...»

Пристыженный, стал я думать,
Грустно голову понуря:
Там, где любят, помогая,
Там сердца сближает буря...

1852

Пароход «Гелламо»

СТАРЫЙ САЗАНДАР

Земли, полуднем раскаленной,
Не освежила ночи мгла.
Заснул Тифлис многобалконный;
Гора темна, луна тепла...

Курá шумит, толкаясь в темный
Обрыв скалы живой волной...
На той скале есть домик скромный,
С крыльцом над самой крутизной.

Там, никого не потревожа,
Я разостлать могу ковер,
Там целый день, спокойно лежа,
Могу смотреть на цепи гор;

Гор не видать — вся даль одета
Лиловой мглой; лишь мост висит,
Чернеет башня минарета,
Да тополь в воздухе дрожит.

Хозяин мой хоть брови хмурит,
А, право, рад, что я в гостях...
Я все молчу, а он все курит,
На лоб надвинувши папах.

Усы седые, взгляд сердитый,
Суровый вид; но песен жар
Еще таит в груди разбитой
Мой престарелый сазандар.

Вот, медных струн перстом касаясь,
Поет он, словно песнь его
Способна, дико оживляясь,
Быть эхом сердца моего!

«Молись, кунак,¹ чтоб дух твой крепнул
Не плачь; пока весь этот мир
И не оглох и не ослепнул,
Ты званый гость на божий пир.

Пока у нас довольно хлеба
И есть еще кувшин вина,
Не раздражай слезами неба,
И знай — тоска твоя грешна.

Гляди — еще цела за нами
Та сакля, где, тому назад
Полвека, жадными глазами
Ловил я сердцу милый взгляд.

Тогда мне мир казался тесен;
Я умирал, когда не мог
На празднике, во имя песен,
Переступить ее порог.

¹ Кунак — друг, приятель, кум.

Вот с этой старою чингури
При ней, бывало, на дворе
Я пел, как птица после бури
Хвалебный гимн поет заре.

Теперь я стар; она — далеко!
И где? — не ведаю; но верь,
Что дальше той, о ком глубоко
Ты, может быть, грустишь теперь...

Твое мученье — за горами,
Твоя любовь — в родном краю;
Моя — над этими звездами
У бога ждет меня в раю!»

И вновь молчит старик угрюмый;
На край лохматого ковра
Склонясь, он внемлет с важной думой,
Как под скалой шумит Курá.

Ему былое время снится...
А мне?.. Я не скажу ему,
Что сердце гостя не стремится
За эти горы ни к кому;

Что мне в огромном этом мире
Невесело; что, может быть,
Я лишний гость на этом пире,
Где собралися есть и пить;

Что песен дар меня тревожит,
А песням некому внимать.
И что на старости, быть может,
Меня в раю не будут ждать!

1853

ВЕСНА

Воротилась весна, воротилась!
Под окном я встречаю весну.
Просыпаются силы земные,
А усталого клонит ко сну.

И напрасно черемухи запах
Мне приносит ночной ветерок;
Я сижу и тружусь; сердце плачет,
А нужда задает мне урок.

Ты, любовь — праздной жизни подруга, —
Не сумела ужиться с трудом...
Со слезами со мной ты простилась —
И другим улыбулась тайком...

1853

ПЕСНЯ ЦЫГАНКИ

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит,
Мы простимся на мосту.

Ночь пройдет — и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой.

На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни:
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни.

Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?

Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя
На коленях у тебя!

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫВОД

(Посвящается А. Нов...ву)

Первоначальных лет неясные стремленья,
И все, чему найти не мог я выраженья;
Безумной юности неосторожный пыл,
И все, чем сердце я навеки отравил;
Возвышенных надежд несбыточные грезы,
И та действительность, к которой я привык:
Смешным неверием осмеянные слезы,
И внутренней борьбы никем не слышный крик,
Все прежние мечты, все страсти, все желанья,
Все равнодушные к тому, чего уж нет, —
Всё вместе, как одно всецелое страданье,
Могло б в сердцах людей найти себе ответ...
Но я не жду его, я не прошу ответа;
И все, что скажут мне, я знаю наперед:
«Мы так же, как и ты, похожи на Гамлета;
Ты так же, как и мы, немножко Дон-Кихот».

1853

КОЛОКОЛЬЧИК

Улеглася метелица... путь озарен...
Ночь глядит миллионами тусклых очей...
Погружай меня в сон, колокольчика звон!
Выноси меня, тройка усталых коней!

Мутный дым облаков и холодная даль
Начинают яснеть; белый призрак луны
Смотрит в душу мою — и былую печаль
Наряжает в забытые сны.

То вдруг слышится мне — страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня:
«Ах, когда-то, когда-то мой милый придет —
Отдохнуть на груди у меня!

У меня ли не жизни!.. чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле.
За цветной занавеской, кровати!..

У меня ли не жизни!.. ночью ль ставень
открыт —
По стене бродит месяца луч золотой,

Забушает ли вьюга — лампада горит,
И когда я дремлю, мое сердце не спит,
Все по нем изнывая тоской».

То вдруг слышится мне — тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:
«Где-то старый мой друг?.. Я боюсь, он войдет
И, ласкаясь, обнимет меня!

Что за жизнь у меня! и тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно.
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно!..

Что за жизнь!.. полинял пестрый полога цвет,
Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому — милого нет,
Лишь старуха ворчит, как приходит сосед,
Оттого что мне весело с ним!..»

1854

СМЕРТЬ МАЛЮТКИ

Свою куклу раздела малютка
И покрыла ее лоскутком;
А сама нарядилась, как кукла,
И недетским забылася сном.

И не видит малютка из гроба —
В этот солнечный день, при свечах,
Как хорош ее маленький гробик,
Под парчой золотою, в цветах.

А уж как бы она любовалась,
Если б только могли разбудить!
Милый друг, будем плакать как дети,
Чтоб недетское горе забыть!..

1854

Чул шум на площади — рукоплескания —
Друга венчает народ —
Но и в лавровом венке из собрания
Он к этой двери придет.

1854

У АСПАЗИИ

Гость

Что б это значило? вижу — сегодня ты
Дом свой как храм убрала:
Между колонн занавесы приподняты,
Благоухает смола.
Цитра настроена; свитки разбросаны;
У посыпающих пол
Смуглых рабынь твоих косы расчесаны...
Ставят амфоры на стол.
Ты же бледна, — словно всеми забытая,
Молча стоишь у дверей.

Аспазия

Площадь отсюда видна мне, покрытая
Тенью сквозных галерей,
Шум ее замер — и это молчание
В полдень так странно, что вновь
Сердце мне мучит тоска ожидания,
Радость, тревога, любовь.
Буйных Афин тишину изучила я:
Это — Перикл говорит;
Если бледна и молчит его милая,
Значит весь город молчит...

В ГЛУШИ

Для кого расцвела? для чего развилась?
Для кого это небо — лазурь ее глаз.
Эта роскошь — волнистые кудри до плеч,
Эта музыка — уст ее тихая речь?

Ясно может она своим чутким умом
Слышать голос души в разговоре простом;
И для мира любви и для мира искусств
Много в сердце у ней незатронутых чувств.

Прикоснется ли клавиш — заплачет рояль...
На ланитах — огонь, на ресницах — печаль...
Подойдет ли к окну — безотчетно-грустна
В безответную даль долго смотрит она.

Что звенит там вдали — и звенит и зовет?
И зачем там в степи пыль столбами встает?
И зачем та река широко разлилась?
Оттого ль разлилась, что весна началась?

И откуда, откуда тот ветер летит,
Что, стряхая росу, по цветам шелестит,
Дышит запахом лип и, концами ветвей
Помавая, влечет в сумрак влажных аллей?

Не природа ли тайно с душой говорит?
Сердце ль просит любви и без раны болит?
И на грудь тихо падают слезы из глаз...
Для кого расцвела? для чего развилась?

< 1855 >

Свет восходящих звезд — вся ночь, когда она
Светла без месяца, без облаков темна,
Заклучена в глазах твоих чудесных.
При них теряюсь я — и не могу понять,
И словом не могу понятным передать
Волнений, сердцу неизвестных.
Я верю иногда, что мне в глазах твоих
Читать любовь была б отрада.
А иногда мне страшно возле них,
Как темной ночью возле клада.
Что выражает мне твой непонятный взгляд,
Когда глаза твои глядят и не глядят.
Из-под ресниц тяжеловесных?
Не так ли две звезды — две путницы небесных,
Не зная, чьи мечты за ними вслед текут,
Горят — не греют — но... влекут.

< 1855 >

ПЕРВЫЕ ШАГИ

— Зачем покинул я в долине дом родной
И роши свежие, шумящие ручьями? —
«Не унывай, мой сын: за этими скалами
Пред нами ляжет путь широкий и прямой».
— Отец, отец! пусти меня домой!
Мне страшно здесь... Какой-то гул
невнятный... —
«То море за горой нас чует и шумит,
Надеждой манит вдаль — и бурями грозит.
Идем!» — Душа полна тревоги непонятной...
Так вот оно — безбрежье вечных вод!
Прекрасно-гневно, оно меня зовет.
В сердитом плеске волн, отброшенных
скалами,
Я слышу голос, грозно нами
Повелевающий, — и содрогаюсь я,
И на корабль, как робкое дитя,
Всхожу послушными шагами...

< 1855 >

АГАРЬ

«Завистью гонима, я бегу стыда,
И никто не слышит моего следа.

Куши господина! сени госпожи!
Вертоград зеленый! столб родной межи!

Поле, где доила я веселых коз!
Ложе, где так много пролила я слез!

И очаг домашний, и святой алтарь —
Все прости навеки!» — говорит Агарь.

И ее в пустыню дух вражды влечет,
И пустыня словно все за ней идет.

Все вперед заходит, и со всех сторон
Ей грозит и душит, как тяжелый сон.

Серые камня, лава и песок
Под лучами солнца жгут подошвы ног;

Пальм высоких листья сухо шелестят;
Тени без прохлады по лицу скользят;

И в лицо ей ветер дышит горячо;
И кувшин ей давит смуглое плечо.

Сердце замирает, ноги устают,
Слезы высыхают и опять текут...

Чужды вдали журчанье ключевой воды,
По краям оврага свежие следы.

Знать, недаром пастырь здесь прогнал
стада:
Вот скамья и желоб, зелень и вода.

И, слагая ношу, села отдыхать
Бывшая рабыня — будущая мать.

И, страшась пустыни и боясь пути
И не зная, где ей спутников найти,

Головой поникла с тайною мольбой.
Вдруг, как будто с ветром, сладостно живой

Голос не воздушный, но и не земной
Прозвучал в пустыне, говоря с душой.

И она очулась... слушая, глядит,
Видит — ангел божий на песке стоит.

Белая одежда, белое крыло,
Кроткое сиянье — строгое чело.

«Ты куда?» — спросил он. «Я иду в Кадис». —
И сказал ей ангел: «С миром воротись». —

«Я бегу от Сары, госпожи моей»,
И сказал ей ангел: «Примирился с ней!..»

И родишь ты сына, силу многих сил...
Наречеша имя ему Исмаил;

И рука господня будет вечно с ним...
Населятся страны семенем твоим...»

И с отрадой в сердце начала вставать
Бывшая рабыня — будущая мать.

<1855>

Нет, нет! не оттого признаю медлю я,
Что я боюсь — она не отзовется
Мне на мою любовь, холодный смех тая,
Что старая печаль, как лютая змея,
Опять в душе моей проснется!
Друг! разрушать мечты уж я привык давно,
И сердце у меня готово к новым ранам;
Не в первый раз мне суждено
Быть самому себе тираном.
Но... если я любим... но если с первых слов
Она сама мне бросится на шею!..
Сказать ли, отчего я медлю и робею?
Кто перед женщиной, рыдая, пасть готов,
Тот не готов еще назвать ее своею;
Кто с юных лет страстей обуздывал язык,
Кто приучен людьми не верить их участью,
Кто к лицемерию привык —
Тому нужна привычка к счастью.
Так, если б грешнику неожиданно отворен
Был рай небесный — долго б он
Не мог войти в него, растерян и смущен,
Измученной душой как бы не доверяя
Гостеприимной сени рая.

<1855>

НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Отрадной сна, товарищ мой,
Мне побеседовать с тобой;
Сердитый вал к нам в люки бьет;
Фонарь скринит над головой;
И тяжело стонет пароход,
Как умирающий большой.

Ты так же ранен, как и я...
Но эти раны жгут меня
И в то же время холодят;
Не спас меня хирурга нож,
Но ты меня моложе, брат,
И ты меня переживешь.

Едва ли, впрочем, этот Крым,
И этот гул, и этот дым,
И эти кучи смрадных тел
Забудешь ты когда-нибудь,
Куда бы ты ни полетел
Душой и телом отдохнуть.

На лоне мира и любви
Ты вспомнишь — ужас! — ты в крови
Топтал товарищей своих,

Ты слышал их предсмертный хрип,
Ты, раненый, близ ран моих
Лежал, страдал и — не погиб.

Какой ценой, ты вспомнишь, брат,
Купили мы развалин ряд!
Для человеческих ушей
Гром неестественный гремел,
Когда мы лезли из траншей
На вал, скользя по грудам тел.

Но грянул взрыв — последний взрыв...
И я без чувств упал в обрыв.
Когда ж очнулся... Боже мой!
Какая тишь была вокруг!
И страшен город был немой,
И страшно нем был мой испуг.

Стена была обагрена...
Дым застилал, как пелена,
Небесный свод — и от земли
Тяжелый поднимался пар...
Вдали пылали корабли,
И отражал залив пожар.

Ликуйте, гордые умы!
Могилу храбрых взяли мы...
Коварной славы сладкий дым,
Ты горек нам, ты дорог нам!
Но — фимиам необходим
Кумиру и его жрецам.

Когда ты снова посетишь
Наш императорский Париж,
Смутит тебя победный крик,
Как пляска после похорон,
Как сумасшедшего язык,
Как смех, в котором слышен стон.

Пускай наш новый полубог
Вкушает славу!.. Я б не мог...
Я для иного был рожден,
Иные цели смел таить,
И был, как бурей, увлечен
Туда, где я не мог любить...

И где, казалось бы, не след
Мне умереть в чаду побед...
Но — умираю... Все, что я
Любил когда-то, в эту ночь
Как будто около меня
Стоит и не отходит прочь.

Я вижу — вот моя семья...
Вот мать... вот нежная моя
Подруга... дети... Боже мой!
А это кто?! Иль это бред?...
Какой-то призрак роковой —
В блестящей мантии скелет...

Ужели смерть?... Зачем она,
Грозь, кричит: «Пыдай, война!
Враждайте, племена всех стран!

Вот вам республика и троп,
И христианство и Коран,
Мадзини и Наполеон!»

Скажи, что значу я пред ней
Со всею гордостью моей?...
Ее десница мне на грудь
Легла — и я как тряпка смят!
Освободи, брат! дай вздохнуть!..
А-га! да ты уж умер, брат!

20 июля 1855

Моя судьба, старуха, нянька злая,
И безобразная и глухая, за мной
Следит весь день и, под руку толкая,
Надоедает мне своєю болтовней.
Когда-то в карты мне она гадала
И мне сулила много светлых дней;
Я, как ребенок, верил ей сначала,
Доверчив был и уживался с ней.
То штопая, то делая заплаты,
Она не раз при мне ворчала на беду:
«Вот погоди! как будем мы богаты,
Я от тебя сама уйду...»
А между тем несутся дни и годы —
Старуха все еще в моем углу ворчит,
Во все мешается, хлопочет и, свободы
Лишая разум, сердце злит.
И жизнь моя невольно как-то странно
Слилась с ее житьем-бытьем,
И где бы ни был я, один ли — беспрестанно
Мне кажется: мы с ней вдвоем.
Проснусь ли я душою, озаренный
Внезапной мыслию иль новой красотой, —
Плаксивое лицо старухи раздраженной
Как желтое пятно мелькает предо мной.
Хочу любить... «Нет, — говорит, —
не вправе,
Не смеешь ты, не должен ты любить».

Уединясь, мечтаю ли о славе —
Она, как мальчика, придет меня дразнить.
И болен я — и нет мне сил подняться,
И слышу я: старуха, головой
Качая, говорит, что вряд ли мне дождаться
Когда-нибудь судьбы иной.

Мое сердце — родник, моя песня — волна,
Пропавшая вдали, — разливается...
Под грозой — моя песня, как туча, темна,
На заре — в ней заря отражается.
Если ж вдруг вспыхнут искры нежданной
любови
Или на сердце горе накопится —
В лоно песни моей льются слезы мои,
И волна уносить их торопится.

<1856>

— Подойди ко мне, старушка,
Я давно тебя ждала. —
И косматая, в лохмотьях,
К ней цыганка подошла.
«Я скажу тебе всю правду;
Дай лишь на руку взглянуть:
Берегись, тебя твой милый
Замышляет обмануть».

И она в открытом поле
Сорвала себе цветок,
И лепечет, обрывая
Каждый белый лепесток:
«Любит — нет — не любит — любит...»
И, оборванный кругом,
«Да» сказал цветок ей темным,
Сердцу вмятым языком.

На устах ее — улыбка,
В сердце — слезы и гроза.
С упоением и грустью
Он глядит в ее глаза.
Говорит она: обман твой
Я предвижу — и не лгу,
Что тебя возненавидеть
И хочу и не могу.

Он глядит все так же грустно,
Но лицо его горит...
Он, к плечу ее устами
Припадая, говорит:
«Берегись меня! — я знаю,
Что тебя я погублю,
Оттого что я безумно,
Горячо тебя люблю!..»

<1856>

НА ПУТИ ИЗ ГОСТЕЙ

Славный мороз. Ночь была бы светла,
Да застилает сиянье
Месяца душу гнетущая мгла —
Жизни застывшей дыханье.
Слышится города шорох ночной,
Снег подметенный скрипит под ногой...
Дальних огней вижу мутные звезды,
Да запертые подъезды...
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Что же в гостях удержало меня?
Или мне было привольно
В сладком забвении бесплодного дна
Мучить себя добровольно?
Скучно и глупо без-цели болтать...
И не охотник я в карты играть,
Даже, признаться, не радует ужин:
Да и кому я там нужен!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Мери сегодня была весела
И грациозно-любезна;
Но хоть она и умна и мила —
Нравиться ей бесполезно.
Слушать — так, право, на горе мос,
Бредит героями... но до нее
Мне далеко, потому что невеста
Ищет доходного места.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Олимпиада простее сестры...
Впрочем — глаза с поволокой,
Листа играет; во время игры
Пальцы взлетают высоко,
Клавинши так и стучат и гремят...
Все, будто в страхе каком-то, молчат...
Правду сказать, мастера ее руки
На музыкальные штуки!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Виктор стихи нам сегодня прочел:
Дамы остались довольны;
Только старик отчего-то нашел,
Что чересчур мысли вольны.
Что молодежь нынче стала писать
Так, что не следует вслух и читать.
Вот и прочел я стихи эти снова, —
Ну, и не понял ни слова!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Гости бывают там разных сортов:
В дом приезжают — вертятся,
И комплимент у них мигом готов,
Из дому едут — бранятся.
Что занимает их — трудно понять,
Всё обо всем они могут сказать;
Каждый себя самолюбьем измучил,
Каждому каждый наскучил.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

В люди как будто невольно идешь;
Все будто ищешь чего-то,
Вот-вот не нынче, так завтра найдешь...
Одoleвает зевота,
Скука томит... А проклятый червяк
В сердце уняться не хочет никак:
Или он старую рану тревожит,
Или он новую гложет.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Много есть чудных, прекрасных людей,
Светлых умом и вполне благородных,
Но и они, вроде бледных теней,
Меркнут душою в гостиних холодных.
Есть у нас так называемый свет,
Есть даже люди, а общества нет:
Русская мысль в одиночку созрела,
Да и гуляет без дела.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

Вот, вижу, дворник сидит у ворот,
В шубе да в шапке лохматой:
Точно медведь; на усах его лед,
Снег в бороде, в рукавице лопата...
Спит ли он, так ли, прижавшись, сидит,
Думает думу, морозы бранит,
Или, как я же, бесплодно мечтает,
Или меня поджидает?
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!

<1856>

СНЫ

1

Затворены душевные ставни,
Один я лежу, без огня —
Не жаль мне ни ясного солнца,
Ни божьего белого дня.

Мне снилось, румяное солнце
В постели меня застает,
Кидает лучи по окошкам
И молодость к жизни зовет.

И — странно! — во сне мне казалось,
Что будто, пригретый лучом,
Лениво я голову поднял
И стал озираться кругом;

И вижу — толпа за толпою
Снует мимо окон моих.
О глупые люди! куда вы? —
Я думаю, глядя на них.

И сам наконец я за ними
Куда-то спешу из ворот...
И жжет меня полдень, и пыльный
Кругом суетится народ.

И ходят послушные ноги,
И движутся руки мои;
Без мысли язык мой лепечет,
И сердце болит без любви.

И пот уж гляжу я на запад,
Усталою грудью дыша...
Когда-то закатится солнце!
Когда-то проснется душа!

Проснулся: затворены ставни,
Один я лежу, без огня —
Не жаль мне ни ясного солнца,
Ни божьего белого дня!..

<1856>

2

Мне снилось, легка и воздушна,
Прошла она мимо окна;
И слышу я голос: мой милый!
Спеши! я сегодня одна!..

Слова эти были так нежны
И так нетерпенья полны,
Что сердце мое востепенулось,
Как птичка навстречу весны.

И радостным сердца движеньем
Себя разбудил я... увы!
Глядела в окно мое полночь,
И слышались крики совы.

180

И долго лежал я — и дума
Была, как свинец, тяжела.
Неужели в это окошко
Она меня громко звала?

Неужели в это окошко
Другим я когда-то смотрел?
Был ветер, и молод, и весел,
И многого знать не хотел?

<1859>

3

Уж утро! — но, боже мой, где я?
В своем ли я нынче уме?
Вчера мне казалось так живо,
Что я засыпаю в тюрьме;

Что кашляет сторож за дверью
И что за туманным стеклом
Луна из-за черной решетки
Сняет холодным серпом;

Что мышка подкралась и скоблит
Ночник мой потухший в углу
И что все какая-то птичка
С надворья стучит по стеклу.

Уж утро! — но, боже мой, где я?
Заснул я как будто в тюрьме,
Проснулся как будто свободный, —
В своем ли я нынче уме?

<1859>

181

ПОДСОЛНЕЧНОЕ ЦАРСТВО

Клонит сон — стихи, прощайте!
 Погасай, моя свеча!
 Сплю и слышу, будто где-то
 Ходит маятник, стуча...

Ходит маятник, и сонный,
 Чтоб догнать его скорей,
 Как по воздуху, иду я
 Вдаль за тридевять полей...

И хочу я в тридесятном
 Государстве кончить путь,
 Чтоб хоть там свободным словом
 Облегчить больную грудь.

И я вижу: в тридесятном
 Государстве на часах
 Сторожа стоят в тумане
 С самострелами в руках.

На мосту собака лает,
 И в испуге через сад
 Я иду под свод каких-то
 Фантастических палат.

Узнаю родные стены...
 И тайком иду в покой,
 Где подсолнечного царства
 Царь лежит с своей женой.

Кот мурлычет на лежанке;
 Светит лампа — царь не спит —
 И седая из подушек
 Борода его торчит.

На глаза колпак напялив,
 Шевелит он бородой
 И ведет такие речи
 Обо мне с своей женой:

«Сокрушил меня царевич;
 Кто мне что ни говори, —
 А, любя стихи да рифмы,
 Не годится он в цари.

Я лишу его наследства»,
 А жена ему в ответ:
 «Будет, бедненький, по царству
 Он скитаться, как поэт».

«Но, — сказал отец, — дозволим
 Мы за это, так и быть, —
 Нашей фрейлине с безумцем
 Одиночество делить:

У нее в лице любовью
 Дышит каждая черта —
 У него в стихах недаром
 Все любовь да красота».

«Но, — ответила царица, —
 Наша фрейлина горда

И отвергнутого нами
Не полюбит никогда».

Ах! — кричу я им, — лишите
Вы меня всего, всего...
Все-то ваше царство вряд ли
Стоит сердца моего!..

Но ужель она, чьи очи
Светят расм, — так горда,
Что отвергнутого вами
Не полюбит никогда?..

<1859>

5

ТИПЬ И МРАК

Я спал — и гнетущего страха
Волнение хотел превозмочь,
И видел я сон — будто светит
Какая-то странная ночь.

Дымясь, неподвижные звезды
В эфире горят, как смола,
И запахом ладана сильно
Ночная пропитана мгла.

И месяц, холодный, как будто
Мертвец, посреди облаков
Стоит над долиной, покрытой
Рядами могильных холмов.

Недвижно поникли деревья;
Далеко стоит тишина:
Природа как будто не дышит
В объятиях мертвого сна.

И весь я вниманье — и сердцем
Далеко я в ночь уношусь,
И жду хоть единого звука —
И крикнуть хочу и — боюсь!

И вдруг с легким треском все небо
Подвинулось — звезды текут —
И катится месяц, как будто
На нем гроб тяжелый везут.

И темные тучи печальным
Над ним балдахином висят,
И красные звезды, как свечи,
Повитые крепом, горят.

И катится месяц все дальше
И дальше в бездонную ночь —
И звезды за ним в бесконечность
Уходят из глаз моих прочь...

Их след, как дымок от фосфора,
Как облачко, в черной дали
Расплылся — и мрак непроглядный
Одел мертвый череп земли.

И стал я блуждать в этом мраке
Один — как слепец. Не ночной —

Могильный был мрак, и повсюду
Была тишина и покой.

Такой был покой и такая
Была тишина, что листок
В лесу покачнись — или капля
Скатись — я услышать бы мог.

То весь замирал я — и долго
Стоял неподвижно. — то бил
Я в землю ногами, не видя
Ни ног, ни земли, — то ходил,

Кружась, как помешанный, падал —
Лежал — сам с собой говорил —
Вставал — щупал воздух руками —
И вдруг — чью-то руку схватил. . .

И мигом я понял, что это
Была не мужская рука,
У ней были нежные пальцы,
Она была стройно-легка.

И так эту руку схватил я,
Как будто добычу поймал,
И так я был рад, что, казалось,
На время дышать перестал.

«Ага! не один я — не все мы
Пропали! — я думал. — Есть грудь
Другая, которая может
И закричать и вздохнуть».

«О, кто ты? — шептал я, — хоть слово
Скажи мне — хоть слово! — и мне
Оно будет музыкой в этой
Могильной, немой тишине. . .

Откуда ты шла? — Где застигла
Тебя эта тьма? — говори!
Мне звуки речей твоих будут
Сиянием новой зари».

Молчанье, молчанье — ни слова,
Ни вздоха. . . Одна лишь рука
Незримая руку мне жала
И трепетала слегка.

Напрасно порывисто, жадно
Уста я устами ловил,
Напрасно лобзал ее в очи
И плечи слезами кропил.

Она предавала все тело
Мучительным ласкам моим;
А я — я шептал: «Умоляю,
Порадуй хоть словом одним».

Молчанье, молчанье — и вот уж
Я сам перестал говорить,
Я помню, во сне, как безумец,
Готов был ее укусить!

Но в эту минуту, рванувшись,
Как змей ускользнула она,

К чему оно влеклось, кого оно согрело?
Зачем измучено борьбой?
О брат! пойму ли я при звуках лиры, смело,
Законно поднятой тобой?

Быть может, знать добро не значит зла
не видеть,

Любить — не значит тосковать. . .

Что искренно нельзя и тьмы возненавидеть
Тому, кто сам не мог сиять. . .

Вот почему, когда звенит, как меч тяжелый,
Твой жесткий, беспощадный стих,
С невольным трепетом я внемлю невеселой,
Холодной правде слов твоих.

Июнь 1856
СПб.

НА КОРАБЛЕ

Стихает. Ночь темна. Свисти, чтоб мы
не спали! . .

Еще вчерашняя гроза не унялась:
Те ж волны бурные, что с вечера плескали,
Не закачав, еще качают нас.
В безлунном мраке мы дорогу потеряли,
Разбитым фонарем не освещен компас.
Неси огня! звони, свисти, чтоб мы не спали! —
Еще вчерашняя гроза не унялась. . .
Наш флаг порывисто и беспокойно веет;
Наш капитан впотьмах стоит, раздумья полн. . .
Заря! . . друзья, заря! Смотрите, как яснест —
И капитан, и мы, и гребни черных волн.
Кто болен, кто устал, кто бодр еще, кто плачет,
Что бурей сломано, разбито, снесено —
Все ясно: божий день, вставая, зла не прячет. . .
Но — не погибли мы! . . и много спасено. . .
Мы мачты укрепим, мы паруса подтянем,
Мы нашим топотом встревожим праздных
лень —
И дальше в путь пойдем, и дружно песню
грянем:
Господь, благослови грядущий день!

1856

НОЧЬ В КРЫМУ

Помнишь, лунное мерцанье,
Шорох моря под скалой,
Сонных листьев колыханье,
И цыцырны¹ стрекотанье
За оградой садовъй;

В полумгле нагорным садом
Шли мы, — лавр благоухал;
Грот чернея за виноградом,
И бассейн под водопадом
Переполенный звучал;

Помнишь, свежее дыханье,
Запах розы, говор струй —
Всей природы обаянье,
И невольное слиянье
Уст в нежданный поцелуй,

Эта музыка природы,
Эта музыка души
Мне в иные, злые годы,

¹ Цыцырныя — татарское слово, — то же, что цикада.

После бурь и непогоды,
Ясно слышалась в тиши.

Я внимал — и сердце грелось
С юга веющим теплом,
Легче верилось и пелось...
Я внимал — и мне хотелось
Этой музыки во всем...

<1857>

ХОЛОДЕЮЩАЯ НОЧЬ

(Фантазия)

(Посв. М. Ф. Штакеншнейдер)

Там, под лаврами, на юге —
Странник бедный — только ночь
Мог я взять себе в подруги,
Юга царственную дочь.

И ко мне она сходила
В светлом пурпуре зари,
На пути, в пространствах неба,
Зажигая алтари.

Боже! как она умела
Раны сердца врачевать,
Как она над морем пела!
Как умела вдохновлять!

Но, увы! судьбой на север
Приневоленный иди,
Я сказал подруге-ночи:
«Ненаглядная, прости!»

А она со мной расстаться
Не хотела, не могла —
По горам, от слез мигая,
Вслед за мной она текла.

То сходила на долину
С томно блещущим челом
И задумчиво стояла
Над моим степным костром;

То со мною ночевала
Над рекою, у скирдов,
Вся тонким ароматом
Рано скошенных лугов.

Но чем дальше я на север
Шел чрез степи и леса,
Незаметно холодела
Ночи южная краса...

То, в туманы облачаясь,
Месяц прятала в кольцо;
То с одежд холодный иней
Отрясала мне в лицо.

Чем я дальше шел на север,
Тем гналась она быстрее,
Раньше день перегоняла,
Уходила все позднее.

И молила, и стонала...
И, дрожа, я молвил ей:
«Ты на севере не можешь
Быть подругою моею».

И, сверкнув, у синей ночи
Помутились глаза,

И застыла на ресницах
Накипевшая слеза.

И пошла она, — и белым
Замахала рукавом,
И завывала, поднимая
Вихри снежные столбом.

Сквозь метель на север холодный
Я кой-как добрел домой...
Вижу — ночь лежит в долине
Под серебряной парчой...

И беззвучно мне лепечет:
«Погляди, как я мертва!
Сердце глухо, очи тусклы,
Холодеет голова.

Но гляди — всё те же звезды
Над моею головой...
Красотой моею мертвой
Полюбуйся, милый мой.

И поверь, что если снова
Ты воротись на юг,
В прежнем блеске я восстану,
Чтоб принять тебя, мой друг!

С прежней негой над тобою
Я склоню главу мою
И тебе, сквозь сон, над ухом
Песню райскую спою»...

<1858>

НА БЕРЕГАХ ИТАЛИИ

Я по красному щебню схожу один
К морю сонному,
Словно тучками, мглою далеких вершин
Окаймленному.

Ах! как млеют, вдали замыкая залив,
Выси горные!
Как рисуются здесь, уходя в тень олив,
Козы черные...

Пастухи вдали, на свои жезлы,
С их котомками,
Опершись, стоят на краю скалы —
Над обломками.

Там, у взморья, когда-то стоял чертог
С колоннадами,
И наяды плескались в его порог
Под аркадами.

Там недавно мне снился роскошный сон —
Но... всегда ли я
Ради этих снов забывал твой стон,
О Италия!

Вдохновляемый плачем твоим, я схожу
К морю сонному,
Словно тучками, мглой далеких вершин
Окаймленному.

Там в лазурном тумане толпой встают
Тени бледные.
То не тени встают — по волнам плывут
Пушки медные.

Корабельный флаг отдаленьем скрыт,
Словно дымкою.
Там судьба твоя с фитилем стоит
Невидимкою...

1858

НА ЖЕНЕВСКОМ ОЗЕРЕ

На Женевском озере
Лодочка плывет —
Едет странник в лодочке,
Тяжело гребет.
Видит он — по злачному
Скату берегов
Много в темной зелени
Прячется домов.
Видит — под окошками
Возле синих вод
В виноградном садике
Красный мак цветет.
Видит — из-за домиков,
В вековой пыли,
Колокольни серые
Подняли шпили,
А за ними — вечные
В снежных пеленах
Выси допотопные
Тонут в облаках.
И душой мятежную
Погрузился он
О далекой родине
В неотвязный сон —

У него на родине
Ни озер, ни гор,
У него на родине
Стени да простор.
Из простора этого
Некуда бежать,
Думы с ветром носятся,
Ветра не догнать.

< 1859 >

УТРАТА

Когда предчувствием разлуки
Мне грустно голос ваш звучал,
Когда, смеясь, я ваши руки
В моих руках отогревал,
Когда дорога яркой далью
Меня манила из глуши —
Я вашей тайною печалью
Гордился в глубине души.

Перед непризнанной любовью
Я весел был в прощальный час,
Но — боже мой! с какою болью
В душе очнулся я без вас!
Какими тягостными снами
Томит, смущая мой покой,
Все недосказанное вами
И недослушанное мной!

Напрасно голос ваш приветный
Звучал мне как далекий звон,
Из-за пучины: путь заветный
Мне к вам навеки прегражден. —

Забудь же, сердце, образ бледный,
Мелькнувший в памяти твоей,
И вновь у жизни, чувством бедной,
Ищи подобья прежних дней!

<1859>

Корабль пошел навстречу темной ночи...
Я лег на палубу с открытой головой;
Грустя, в обитель звезд вперил я сонны очи,
Как будто в той стране таинственно-немой
Для моего чела венец плетут Плеяды
И зажигают вечные лампы,
И обещают мне бессмертия покой.

Но вот — холодный ветер дохнул над океаном,
Небесные огни подернулись туманом.
И лег я ниц с покрытой головой,
И в смутных грезах мне казалось: подо мной
Наяды с хохотом в пучинный мрак ныряют,
На дне его могилу разгребают —
И обещают мне забвения покой.

<1859>

ИНАЯ ЗИМА

И помню, как детьми с румяными щеками,
По снегу хрупкому мы бегали с тобой —
Нас добрая зима косматыми руками
Ласкала и к огню сгоняла нас клюкой;
А поздним вечером твои сияли глазки
И на тебя глядел из печки огонек,
А няня старая нам сказывала сказки,
О том, как жил да был на свете дурачок.

Но та зима от нас ушла с улыбкой мая,
И летний жар простыл — и вот, заслыша вой
Осенней бури, к нам идет зима иная,
Зима бездушная — и уж грозит клюкой.

А няня старая уж ножки протянула —
И спит себе в гробу, и даже не глядит,
Как ты, усталая, к моей груди прильнула,
Как будто слушаешь, что сердце говорит.
А сердце в эту ночь, как няня, к детской
ласке

Неравнодушное, раздуло огонек
И на ушко тебе рассказывает сказки.
О том, как жил да был на свете дурачок.

<1859>

СУМАСШЕДШИЙ

Кто говорит, что я с ума сошел?
Напротив... — я гостям радешенек...
Садитесь!..

Как это вам не грех! неужели я зол!
Не укушу — чего боитесь!

Давило голову — в груди лежал свинец...
Глаза мои горят — но я давно не плачу —
Я все скрывал от вас... Внимайте, наконец
Я разрешил мою задачу!..

Да, господа! мир обновлен. Века
К благословенному придвинули нас веку.
Вам скажет всякая приказная строка,
Что счастье нужно человеку.

Народы поднялись и обнажили меч,
Но образумились и обнялись, как братья.
Гербы и знамена — все падо было сжечь,
Чтоб только снять печать проклятия.

Настало царствие небесное — светло —
Просторно... — На земле нет ни одной
столицы,

Тиранов также нет — и все как сон прошло!
Рабы, оковы и темницы —

Науки царствуют — виденья отошли,
Одни безумцы ими одержимы...
Чу! слышите — поют со всех концов земли
Невидимые херувимы.

Ликуйте! вечную приветствуйте весну!
Свободы райской гимн из сердца так и рвется —
И я тянусь, тянусь, как луч, в одну струну, —
Что, если сердце оборвется!!.

1859

КАЗАЧКА

Уж осень! Кажется, давно ли
Цветущим ландышем дремучий пахнул лес,
И реки, как моря, сливались по воле
Весною дышащих небес!

Давно ль ладья моя качалась
Там, где теперь скрипят тяжелые возы;
Давно ли жаркая в разливе отражалась
Заря, предвестница грозы!

Я помню — облаков волокна
Сплывались, и ночь спускалась кругом
На крыльях ветра, а вдали сверкали окна
И грохотал весенний гром.

И в блеске молний мне казалось
Волшебным островом знакомое село.
Я плыл — горела грудь — ладья моя качалась,
И вырывалось весло.

Я правил к берегу разлива,
И хата, крытая соломою, с крыльцом,
Ко мне навстречу шла, мигая мне пугливо
Уединенным огоньком.

Когда б любовь твоя мне спутницей была,
О, может быть, в огне твоих объятий
Я проклинать не стал бы даже зла,
Я б не слышал ничьих проклятий!
Но я один — один, — мне суждено внимать
Оков бряцанью — крику поколений —
Один — я не могу ни сам благословлять,
Ни услышать благословений!
То клики торжества... то похоронный звон —
Все от сомнения влечет меня к сомненью...
Иль, братьям чуждый брат, я буду осужден
Меж них пройти неслышной тенью!
Иль, братьям чуждый брат, без песен, без
надежд,
С великой скорбью моих воспоминаний,
Я буду страждущим орудием невежд,
Подпоркою гнилых преданий!

< 1861 >

Признаться сказать, я забыл, господа,
Что думает алая роза, когда
Ей где-то во мраке поет соловей,
И даже не знаю, поет ли он ей.
Но знаю, что думает русский мужик,
Который и думать-то вовсе отвык...
Освобождаемый добрым царем,
Всё розги да розги он видит кругом.
И думает он: то-то станут нас бить.
Как мы захотим на свободе-то жить...

Признаться, забыл я — не знаю, о чем
Беседуют звезды на небе ночном,
И точно ли жаждут упитаться росой
Цветы полевые в полуденный зной.
Но знаю, о чем тайно плачет бедняк,
Когда, запирая свой пыльный чердак,
Лежит он, и мрачен и зол оттого,
Что даже не смеет любить никого,
И зол он на звезды — что с неба глядят,
Как люди глядят — и помочь не хотят.

Я вам признаюсь, что я знать не могу,
Что думает птица, когда на лугу
Холодный туман начинает бродить,
А солнце встает и не смеет светить.

Но знаю — ох, знаю, что мыслит поэт,
Когда для него гаснет солнечный свет.
Ведь я у цензуры слуга крепостной, —
Так думает он — и, холодной рукой
Сдавля свою голову, тихо поет,
Когда его музу цензура сечет.

Признаться, не знаю, что думает пест,
Когда птички крадут в навозе овес,
Когда кот пушистым виляет хвостом,
Не знаю, что думают мыши об нем,
Но знаю, что думают слуги царя,
Ближайшие слуги!

Усердьем горя,
Они день и ночь молят господу сил,
Чтоб он взволновать им народ пособил:
Дай, боже! царя убедить нам хоть раз,
Что плохо бы было престолу без нас;
Ведь эдакий глупый, презренный народ:
Как хочешь дразни — ничего не берет.

20 марта 1861

БЕГЛЫЙ

«Ты куда, удалая ты башка?
Уходи ты к лесу темному пока:
Не сегодня — завтра свяжут молодца.
Не ушел ли ты от матери-отца?
Не гулял ли ты за Волгой в степи?
Не сидел ли ты в остроге на цепи?» —

«Я сидел и в остроге на цепи,
Я гулял и за Волгой в степи,
Да наскучила мне волюшка моя,
Воля буйная, чужая, не своя.
С горя, братцы, изловить себя я дал —
Из острога, братцы, с радости бежал.

Как в остроге-то слышалось нам,
Что про волю-то читают по церквам, —
Уж откуда сила-силушка взялась:
Цепь железная, и та, вишь, порвалась!
И задумал я на родину бежать;
Божья ночка обещалась покрывать.

Я бежал — ног не чуял под собой...
Очутился на стороншке родной,

Тут за речкой моя матушка живет,
Не разбойничка, а сына в гости ждет.
Я сначала постучуся у окна —
Выходи, скажу, на улицу, жена!

Ты не спрашивай, в лицо мне не гляди,
От меня, жена, гостинчика не жди.
Много всяких я подарков тебе нес,
Да, вишь, как-то по дороге все растрес:
Я вина не пил — с воды был пьян,
Были деньги — не зашил карман.

Как нам волю-то объявят господа,
Я с воды хмелен не буду никогда;
Как мне землю то отмерят на миру —
Я в кармане-то зашью себе дыру.
Буду в праздники царев указ читать...
Кто же, братцы, меня может забижать?

«Ты куда, удалая ты башка?
Уходи ты к лесу темному пока.
Хоть родное-то гнездо недалеко, —
Ночь-то месячна: признать тебя легко.
Знать, тебе в дому хозяином не быть,
По дорогам, значит, велено ловить».

1861

БЕЛАЯ НОЧЬ

Дым потянуло вдаль, повеяло прохладой,
Без тени, без огней, над бледною Невой
Идет ночь белая — лишь купол золотой
Из-за седых дворцов, над круглой колоннадой,
Как мертвеца венец перед лампадой,
Мерцает в высоте холодной и немой.
Скажи, куда идти за счастьем, за отрадой,
Скажи, на что ты зол, товарищ бедный мой?!
Вот — темный монумент вознесся над
гранитом...

Иль мысль стесненная твоя
Спасенья ищет в жале ядовитом,
Как эта медная змея
Под медным всадником, прижатая копытом
Его несущего коня...

< 1862 >

(Е. А. Штакеншнейдер)

Ползет ночная тишина
Подслушивать ночные звуки...
Травую пахнет и влажна
В саду скамья твоя... Больна,
На книжку уронивши руки,
Сидишь ты, в тень погружена,
И говоришь о днях грядущих,
Об угнетенных, о гнетущих,
О роковой растрате сил,
Которых ключ едва пробил
Кору тупого закоспелья,
О всем, что губит вдохновенье,
Чем так унижен человек
И что великого презренья
Достойно в наш великий век.

А там — сквозь тень — огни за чаем,
Сквозь окна — музыка... Серпом
Блестит луна, и лес кругом,
С его росой и соловьем,
И ты назвать готова раем
И этот сад и этот дом.

Страну волков преобразая
В подобие земного рая,
Здесь речка вышла из болот,
На тундрах дом возник — и вот
Трудом тяжелым, неустанным
Кругом все ожило: неожиданным
Паденьем безмятежных вод
Возмущены ночные тени,
И усыпительно для лени
Однообразно жернова
Шумят, — и лодка у плотины,
И Термуса из белой глины
Вдали мелькает голова...

Здесь точно рай, и ты привыкла
К благополучью своему.
Здесь рай. Зачем же ты поникла,
И вновь задумалась к чему?
Иль поняла, что рай твой тесен
Для гражданина и для песен,
Что мысли здесь займут луна,
Цветы, грибы, прогулки летом,
И новой жизни семена
Взойдут, быть может, пустоцветом;
Что в этом маленьком раю
Все измельчает понемногу.
Иные скажут: «Слава богу!»
А ты — ты, голову свою
Повесив, будешь, как немая,
Сидеть и думать: «Боже мой!

Как хорошо бежать из рая
И окунуться с головой
В жизнь, поднимающую вой,
Как злое море под грозой...»

1862

Мыза Иванюка

ПОЦЕЛУЙ

Н рассудок, и сердце, и память губя,
Я недаром так жарко целую тебя —
Я целую тебя и за ту, перед кем
Я тайл мои страсти — был робок и нем.
И за ту, что меня обожгла без огня
И смеялась, и долго терзала меня.
И за ту, чья любовь мне была бы щитом,
Да, убитая, спит под могильным крестом.
Все, что в сердце моем загоралось для них,
Догорая, пусть гаснет в объятьях твоих.

<1863>

СТАРЫЙ ОРЕЛ

Еще на солнце я гляжу и не моргаю,
И вижу далеко играющих орлят —
Отлет их жадными глазами провожаю,
И знать хочу — куда они летят...
Но я отяжелел — одрях — не без кручины
Сижу один я на краю стремнины,
У разоренного гнезда,
И только изредка, позабывая годы,
На отдаленный шум их крыл и клич свободы:
«Сюда, сюда! старик, сюда!»
Я поднимаю машущие крылья,
Хочу лететь насколько хватит сил,
Увы! напрасные усилия!
Я только с камней пыль сметаю взмахом крыл —
И, утомленный, вновь дремлю, сомкнув зеницы,
И жду, когда в горах погаснет красный день,
За мной появится блуждающая тень
Моей возлюбленной орлицы...

< 1863 >

Чтобы песня моя разлилась как поток,
Ясной зорьки она дожидается:
Пусть не темная ночь, пусть горячий восток
Отражается в ней, отливается,
Пусть чирикают вольные птицы вокруг,
Сонный лес пусть проснется-нарядится,
И сова — пусть она не тревожит мой слух
И, слепая, подальше усядется.

< 1864 >

ВЕК

Век девятнадцатый — мятежный, строгий век —
Идет и говорит: «Бедняжка человек!
О чем задумался? бери перо, пиши:
В твореньях нет творца, в природе нет души.
Твоя вселенная — брожение сил живых,
Но бессознательных, — творящих, но слепых.
Нет цели в вечности: жизнь млется как поток,
И, на ее волнах мелькнувший пузырек,
Ты лопнешь, падая в пространство без небес —
Туда ж, куда упал и раб твой, и Зевес,
И червь, и твой кумир; фантазию твою
Я разбиваю в прах... покорствуй, я велю!»
Он пишет — век идет; он кончил — век проходит.
Сомненья вновь кипят, ум снова колобродит.
И снова слушает бедняжка-человек,
Что́ будет диктовать ему грядущий век...

< 1864 >

ЧТО, ЕСЛИ

Что, если на любовь последнюю твою
Она любовью первую ответит
И, как дитя, произнесет: «Люблю», —
И сумеркам души твоей посветит?
Ее беспечности, смотри, не отрави
Неугомонным подозреньем:
К ее ребяческой любви
Не подходи ревнивым привиденьем.
Очнувшись женщиной, в испуге за себя,
Она к другому кинется в объятия
И не захочет понимать тебя, —
И в первый раз услышишь ты проклятья,
Увы! в последний раз любя.

< 1864 >

ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ

«Поцелуй меня...
Моя грудь в огне...
Я еще люблю...
Наклонись ко мне».
Так в прощальный час
Лепетал и гас
Тихий голос твой,
Словно тающий
В глубине души
Догорающей.
Я дышать не смел —
Я в лицо твое
Как мертвец глядел —
Я склонил мой слух...
Но, увы! мой друг,
Твой последний вздох
Мне любви твоей
Досказать не мог.
И не знаю я,
Чем развяжется
Эта жизнь моя!
Где доскажется
Мне любовь твоя!

<1864>

ПОЭТУ-ГРАЖДАНИНУ

О гражданин с душой наивной!
Боюсь, твой грозный стих судьбы не пошатнет.
Толпа угрюмая, на голос твой призывный
Не откликаяся, идет,

Хоть прокляти — не обернется...
И верь, усталая, в досужий час скорей
Любовной песенке сердечно отзовется,
Чем музе ропщущей твоей.

Хоть плачь — у ней своя задача:
Толпа-работница считает каждый грош;
Дай руки ей свои, дай голову, — но, плача
По ней, ты к ней не подойдешь.

Тупая, сильная, не вникнет
В слова, которыми ты любишь поражать,
И к поэтическим страданиям не привыкнет,
Привыкнув иначе страдать.

Оставь напрасные воззвания!
Не хныкай! Голос твой пусть льется из груди,
Как льется музыка, — в цветы ряди страдания,
Любовью — к правде нас веди!

Нет правды без любви к природе,
Любви к природе нет без чувства красоты,
К познанию нет пути нам без пути к свободе,
Труда — без творческой мечты...

<1854>

Любви не боялась ты, сердцем созревшая рано,
Поверила ей, отдалась — и грустишь одиноко...
О бедная жертва неволи, страстей и обмана,
Порви ты их грязную сеть и не бойся упрека!

Людские упреки — фальшивая совесть людская...
Не плачь, не горюй, проясни отуманенный взор
твой!
Ведь я не судья, не палач, — хоть и знаю, что
злая
Молва подписала — заочно, смеясь — приговор
твой.

Но каждый из нас разве не был страстями
обманут?
Но разве враги твои могут смеяться до гроба?
И разве друзья твою душу терзать не устанут?..
без повода к злу у людей выдыхается злоба...

И все, что в тебе было дорого, чисто и свято,
для любящих будет таким же священным
казаться;
И щедрое сердце твое будет так же богато —
И так же ты будешь любить и, любя, улыбаться.

<1864>

Заплета свои темные косы венцом,
Ты напомнила мне полудетским лицом
Все то счастье, которым мы грезим во сне,
Грезы детской любви ты напомнила мне.

Ты напомнила мне зноем темных очей
Лучезарные тени восточных ночей —
Мрак цветущих садов — бледный лик при
луне, —
Бури первых страстей ты напомнила мне.

Ты напомнила мне много милых теней
Простотой, темным цветом одежды твоей.
И могилу, и слезы, и бред в тишине
Одиноких ночей ты напомнила мне.

Все, что в жизни с улыбкой навстречу мне шло
Все, что время навек от меня унесло,
Все, что гибло, и все, что стремилось любить,
Ты напомнила мне. — Помоги позабыть!

<1864>

Рассказать ли тебе, как однажды
Хоронил друг твой сердце свое,
Всех знакомых на пышную тризну
Пригласил он и позвал ее.

И в назначенный час панихиды,
При снятии ламп и свечей,
Вкруг убитого сердца толпою
Собралось много всяких гостей.

И она появилась — все так же
Хороша, холодна и мила,
Он с улыбкой красавицу встретил;
Но она без улыбки вошла.

Поняла ли она, что за праздник
У него на душе в этот день,
Иль убитого сердца над нею
Пронеслась молчаливая тень?

Иль боялась она, что воскреснет
Это глупое сердце — и вновь
Потревожит ее жаждой счастья —
Пожелает любви за любовь!

В честь убитого сердца заезжий
Музыкант «Marche funèbre»¹ играл,
И гремела рояль — струны пели.
Каждый звук их как будто рыдал.

Его слушая, томные дамы
Опускали задумчивый взгляд, —
Вообще они тронуты были,
Ели дули и пили оршад.

А мужчины стояли поодаль,
Исподлобья глядели на дам,
Вынимали свои папиросы
И курили в дверях фирмиам.

В честь убитого сердца какой-то
Балагур притчу нам говорил,
Раздирательно-грустную притчу, —
Но до слез, до упаду смешил.

В два часа появилась закуска,
И никто отказаться не мог
В честь убитого сердца отведать,
Хорошо ли состряпан пирог?

Наконец, слава богу, шампанским
Он ее и гостей проводил —
Так, без жалоб, роскошно и шумно
Друг твой сердце свое хоронил.

1864

¹ Похоронный марш (франц.). — *Ред.*

Время новое повеяло — смотри,
Время новое повеяло крылом:
У одних глаза вдруг вспыхнули огнем,
Словно луч в лицо ударил от зари,
У других глаза померкли и чело
Потемнело, словно облако нашло...

<1865>

Но я — я бедный пешеход,
Один шагаю я, никто меня не ждет...
Глухая ночь меня застигла,
Морозной мглы сверкающие йгла
Открытое лицо мое язвят;
Где б ни горел огонь, иду к нему, и рад —
Рад верить, что моя пустыня не безлюдна,
Когда по ней кой-где огни еще горят...

1865

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Кто этот гений, что заставит
Очнуться нас от тяжких снов,
Разъединенных мысли сплавит
И силу новую поставит
На место старых рычагов?
Кто упростит задачи сложность?
Кто к совершенству даст возможность
Расчистить миллион дорог?
Кто этот дерзкий полубог?
Кто нечестивец сей блаженный,
Кто гениальный сей глупец?
Пророк-фанатик вдохновенный
Или практический мудрец?..

Придет ли он как утешитель
Иль как могучий, грозный мститель,
Чтоб образумить племена;
Любовь ли в нужды наши вникнет,
Иль ненависть народам кликнет,
Пойдет и сдвинет знамена?

Бог весты! напрасно ум гадает,
А там предтеча, может быть,
Уже проселками шагает,
Глубоко верит и не знает,
Где ночевать, что есть и пить.

Кто знает, может быть, случайно
Он и к тебе уж заходил,
Мечты мечтами заменил
И в молодую душу тайно
Иные думы заронил.

1865

ОРЕЛ И ЗМЕЯ

На горах, под метелями,
Где лишь ели одни вечно зелены.
Сел орел на скалу в тень под елями
И глядит — из расселины
Выползает змея, извивается,
И на темном граните змеиная
Чешуя серебром отливается...

У орла гордый взгляд загорается:
Заиграло, зная, сердце орлиное.
«Высоко ты, змея, забираться! —
Молвил он, — будешь плакать —
раскаешься!...»

Но змея ему кротко ответила:
«Из-под камня горячего
Я давно тебя в небе заметила
И тебя полюбила, могучего...
Не пугай меня злыми угрозами,
Нет! — бери меня в когти железные,
Познакомь меня с темными грозами,
Иль умчи меня в сферы надзвездные».

Засветились глазки зменные
Тихим пламенем, по-змеиному, —
Распахнулись крылья орлиные,
Он прижал ее к сердцу орлиному,

Полетел с ней в пространство холодное;
Туча грозная с ним повстречалась:
Изгибаясь, змея подколотная
Под крыло его робко прижалась.

С бурей борются крылья орлиные:
Близко молния где-то ударила...
Он сквозь гром слышит речи зменные,
Вдруг —
Змея его в сердце ужалила.

И в очах у орла помутилось,
Он от боли упал как подстреленный,
А змея уползла и сокрылась
В глубине, под гранитной расселиной.

< 1866 >

МУЗА

В туман и холод, внемя стучу
Колес по мерзлой мостовой,
Тревоги духа, а не скуку
Делил я с музой молодой.

Я с ней делил неволи бремя —
Наследье мрачной старины,
И жажду пересилить время —
Уйти в пророческие сны,
Ее нервического плача
Я был свидетелем не раз —
Так тяжела была для нас
Нам жизнью данная задача!
Бессилья крик, иль неудача
Людей, сочувствующих нам,
По девственным ее чертам
Унылой тенью пробегала,
Дрожала бледная рука
И олимпийского венка
С досадой листья обрывала.
Зато печаль моя порой
Ее безжалостно смешила,
Она в венок лавровый свой
Меня, как мальчика, рядила.

Без веры в ясный идеал
Смешно ей было вдохновенье,
И звонкий голос заглушал
Мое рифмованное пенье.
Смешон ей был весь наш Парнас
И нами пойманная кляча —
Давно измученный Пегас;
Но этот смех — предвестник плача —
Ни разу не поссорил нас.

И до сего дня муза эта
Приходит тайно разделять
Тревоги бедного поэта,
Бодрит и учит презирать
Смех гаера и холод света.

<1867>

ВЛЮБЛЕННЫЙ МЕСЯЦ

(Посв. М. Л. Златковскому)

Моя барышня по садику гуляла,
По дорожке поздно вечером ходила —
С бриллиантиком колечко потеряла,
С белой ручки его, видно, обронила.

Как ложилась на кроватку, спохватилась;
Спohватившись, по коврам его искала...
Не нашла она колечка — обозлилась, —
Меня, бедную, воровкой обозвала.

И не знала я с тоски, куда деваться;
Хоть бы матушка воскресла — заступилась!..
Вышла в садик я тихонько прогуляться,
Увидала ясный месяц — застыдилась.

Слышу, месяц говорит мне — сам сняет:
«Не пугайся меня, красная девица!
Бедный месяц, как и ты, всю ночь блуждает,
И ему под темным пологом не спится.

И недаром в эту ночь я вышел — светел:
Много горя, много девушек видал я,
А как барышню твою вечер заметил,
О каком-то тихом счастье возмечтал я.

Как вечер она по садику гуляла —
Плечи белые, грудь белую раскрыла... —
Ты скажи мне, не по мне ль она скучала,
На сырой песок слезинку уронила?..»

Встрепенулось во мне сердце ретивое...
Наклонилась я к дорожке — увидала
Не слезинку, а колечко дорогое,
И обмолвилась я — месяцу сказала:

«Мою барышню любовь не беспокоит,
Ни по ком она, красавица, не плачет,
Много денег ей колечко это стоит,
Имя ж честное мое не много значит...»

И свети ты хоть над целою землею —
Не дождешься ты любви от белоручки!..»
И закапали серебряной росой
Слезы месяца, и спрятался он в тучки.

С той поры, когда я, бедная, горюя,
Выхожу одна поплакать на крылечко, —
Бедный месяц! бедный месяц! — говорю я,
Хоть с тобой мне перекинуть дай словечко...

<1868>

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Мчится, мчится железный конек!
По железу железо гремит.
Пар клубится, несется дымок;
Мчится, мчится железный конек,
Подхватил, посадил да и мчит.

И лечу я, за делом лечу. —
Дело важное, время не ждет.
Ну, конек! я куда молчу...
Погоди, соловьем засвищу,
Коли дело-то в гору пойдет...

Вон навстречу несется лесок,
Через балки грохочут мосты,
И цепляется пар за кусты;
Мчится, мчится железный конек,
И мелькают, мелькают шесты...

Вон и родина! Вон в стороне
Тесом крытая кровля встает,
Темный садик, скирды на гумне:

Там старушка одна, чай, по мне
Изнывает, родимого ждет.

Заглянул бы я к ней в уголок,
Отдохнул бы в тени тех берез,
Где так много посеяно грез
Мчится, мчится железный конек
И, свистя, катит сотни колес

Вон река — блеск и тень камыша;
Красна девица с горки идет.
По тропинке идет не спеша;
Может быть — золотая душа,
Может быть — красота из красот.

Познакомиться с ней бы я мог,
И не все ж пустяки городить. —
Сам бы мог, наконец, полюбить...
Мчится, мчится железный конек,
И железная тянется нить.

Вон, вдали, на закате пестрят
Колокольни, дома и острог;
Одноклассник мой там, говорят,
Вечно борется, жизни не рад...
И к нему завернуть бы я мог...

Поболтал бы я с ним хоть часок!
Хоть немного им прожито лет,
Да немало испытано бед...
Мчится, мчится железный конек,
Сеет искры летучие вслед...

И, крутя, их несет ветерок
На росу потемневшей земли,
И сквозь сон мне железный конек
Говорит «Ты за делом, дружок,
Так ты нежность-то к черту пошлан»...

<1868>

МНАЗМ

Дом стоит близ Мойки — вензеля в коронках
Красили балкон,
В доме роскошь — мрамор — хоры на колонках
Расписной плафон.

Шумно было в доме: гости приезжали —
Вечера — балы;
Вдруг все стало тихо — даже перестали
Натирать полы.

Няня в кухне плачет, повар снял передник.
Перевязь — швейцар:
Заболел внезапно маленький наследник —
Судороги, жар...

Вот перед кюветом огонек лампадки...
И хозяйка-мать
Приложила ухо к пологу кровати —
Стонов не слышать.

«Боже мой! ужели?!». Кажется, что дышит...
Но на этот раз
Мнимое дыханье только сердце слышит —
Сын ее погас.

«Боже милосердный! Я ли не молилась
За родную кровь!
Я ли не любила! Чем же отплатилась
Мне моя любовь!

Боже! страшный боже! Где ж твои щедроты,
Коли отнял ты
У отца — надежду, у моей заботы —
Лучшие мечты!»

И от взрыва горя в ней иссякли слезы, —
Жалобы напев
Перешел в упреки, в дикие угрозы,
В богохульный гнев.

Вдруг остановилась, дрогнула от страха,
Крестится, глядит:
Видит — промелькнула белая рубаха,
Что-то шелестит.

И мужик косматый, точно из берлоги,
Вылез на простор,
Сел на табурете и босые ноги
Свесил на ковер.

И вздохнул, и молвил: «Ты уж за ребенка
Лучше помолись;
Это я, голубка, глупый мужичонко, —
На меня гневись...»

В ужасе хозяйка — жмурится, читает
«Да воскреснет бог!»
«Няня, няня! Люди! — Кто ты? — вопрошает.—
Как войти ты мог?» —

«А сквозь щель, голубка! Ведь твоё жилище
На моих костях,
Новый дом твой давит старое кладбище —
Наш отпетый прах.

Вызваны мы были при Петре Великом...
Как пришел указ —
Взвыли наши бабы, и ребята криком
Проводили нас —

И, крестьясь, мы вышли. С родной проститься
Жалко было тож:
Подрастали детки, да и колоситься
Начинала рожь...

За спиной-то пилы, топоры несли мы:
Шел не я один, —
К петрову, голубка, под Москву пришли мы.
А сюда — в ильин.

Истоптал я лапти, началась работа,
Пóчали спешить,
Лес валить дремучий, засыпать болота,
Сваи колотить, —

Годик был тяжелый. За Невую, в лето,
Вырос городок!
Прихватила осень, — я шубенку где-то
Заложил в шиннок.

К зиме-то пригнали новых на подмогу;
А я слег в шалаш;
К утру, под рогожей, отморозил ногу,
Умер и — шабаш!

Вот на этом самом месте и зарыли, —
Барыня, поверь,
В те поры тут ночью только волки выли,
То ли, что теперь!

Ге! теперь не то что... — миллион народу...
Стены выше гор...
Из подвальной ямы выкачали воду —
Дали мне простор...

Ты меня не бойся, — что я? мужичонко!
Грязен, беден, сгнил,
Только вздох мой тяжкий твоего ребенка
Словно придушил...»

Он исчез — хозяйку около кровати
На полу нашли;
Появление духа к нервной лихорадке,
К бреду отнесли.

Но с тех пор хозяйка в северной столице
 Что-то не живет;
Вечно то в деревне, то на юге, в Нище...
 Дом свой продает;

И пустой стоит он, только дождь стучится
 В запертой подъезд,
Да в окошках темных по ночам слезится
 Отраженье звезд.

Сентябрь 1868

ЗА НЕПОГРЕШИМОСТЬ

1

Простительно не понимать,
Что даже солнце не без пятен;
Но... боже! вам ли утверждать,
Что новый догмат непонятен!
Что папа Пий непогрешим,
Что эта истина вне спора,
Пускай об этом спорит Рим, —
Не спорьте, милая синьора!

2

Конечно, пышно он живет,
Рабы — льстецы — куда ни взглянет...
Но в наше время свой народ
Благословлять кто ж даром станет!
Ему нет нужды взятки брать,
Всегда за деньги душу вора
Он может прямо в рай послать, —
Не спорьте, милая синьора!

3

Уж он одрях — все больше спит,
 Кровь еле двигается в жилах,
 И, потерявши аппетит,
 Служить маммону он не в силах.
 Скажите же еретикам,
 В ответ на их протест проклятый,
 Что даже — даже по летам
 Непогрешим наш Пий Девятый.

4

Чтоб всепрощенье получить
 За кой-какие увлечения,
 Попробуйте его пленить
 Лукавой негою смирения,
 Наедине оставшись с ним, —
 Вы сами скажете, синьора,
 Что он, хоть брось, непогрешим —
 Непогрешим и без собора.

5

Когда попы ему кадят,
 А туфли барыни лобзают,
 Когда толпы, за рядом ряд,
 Пред ним колени преклоняют,
 Он завистью не одержим —
 Таких, как он, найдешь не скоро —
 И в этом он непогрешим,
 Непогрешим и без собора.

252

6

Он собственного ничего
 Своим умом не созидает,
 Небесный голос до него
 Через иезуитов достигает.
 Решат они, что он рожден
 При кликах ангельского хора,
 И он поверит, — ибо он
 Непогрешим и без собора.

7

Конечно, властен он проклясть;
 Но так как он не простирает
 На дураков такую власть,
 А умных только раздражает,
 То в чем же зло! — Благословим
 Безвредность папского задора.
 И в этом он непогрешим —
 Непогрешим и без собора.

8

Всех римских догматов венец —
 Последний догмат: папа римский,
 Непогрешимый как мертвец,
 Достоин славы херувимской.
 Так суждено — должно так быть:
 Кто под грехами изнеможет,
 Тот — если б и хотел грешить,
 Увы! грешить уже не может.

1870

В АЛЬБОМ К. Ш...

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

<1871>

ПОЛЯРНЫЕ ЛЬДЫ

У нас весна, а там — отбитые волнами,
Плывут громады льдин — плывут они в туман —
Плывут и в ясный день и — тают под лучами,
Роняя слезы в океан.

То буря обдаёт их пеной и ломает,
То в штиль, когда заря сливается с зарей,
Холодный океан столбами отражает
Всю ночь румянец их больной.

Им жаль полярных стран величия ледяного,
И — тянет их на юг, на этот бережок,
На эти камни, где нам очага родного
Меж сосен слышится дымок.

И не вернуться им в предел родного края,
И к нашим берегам они не доплывут;
Одни лишь вздохи их, к нам с ветром долетая,
Весной дышать нам не дают...

Уж зелень на холмах, уж почки на березах;
Но день нахмурился и — моросит снежок.
Не так ли мы вчера гонули в теплых грезах...
А нынче веет холодок.

<1871>

О Н. А. НЕКРАСОВЕ

Я помню, был я с ним знаком
В те дни, когда, больной, он говорил
с трудом.

Когда, гражданству нас уча,
Он словно вспыхивал и таял как свеча,
Когда любить его могли
Мы все, лишённые даров и благ земли...

Перед дверями гроба он
Был бодр, невозмутим — был тем, чем
сотворен;
С своим поникнувшим челом
Над рифмой — он глядел бойцом, а не
рабом,

И верил я ему тогда,
Как вешему певцу страданий и труда.

Теперь пускай кричит молва,
Что это были всё слова — слова — слова, —
Что он лишь тешился порой
Литературною игрою козырной,
Что с юных лет его грызет
То зависть жгучая, то ледяной расчёт.

Пред запоздалою молвой,
Как вы, я не склонюсь послушной головой;
Ей нипочем сказать уму:
За то, что ты светил, иди скорей во тьму...;
Молва и слава — два врага;
Молва мне не судья, и я ей не слуга.

<1871>

ОТКУДА?!

Откуда же взойдет та новая заря
Свободы истинной — любви и понимания?
Из-за ограды ли того монастыря,
Где Нестор набожно писал свои сказанья?
Из-за Кремля ли, смявшего татар
И посрамившего сарматские знамена,
Из-за того Кремля, которого пожар
Обжег венцы Наполеона?
Из-за Невы ль, увенчанной Петром,
Тем императором, который не жезлом
Ивана Грозного владел, а топором:
На запад просеки рубил и строил флоты.
К труду с престола шел, к престолу от труда
И не чуждался никогда
Ни ученической, ни черновой работы? —
Оттуда ли, где хитрый иезуит,
Престола папского орудие и щит,
Во имя нетерпимости и братства,
Кичась, распатывал основы государства?
Оттуда ли, где Гус, за чашу крест поднося,
Учил на площадях когда-то славной Праги,
Где Жижка страшно мстил за поруганье прав,
Мечом тушил костры и, цепи оборвав,
Внушал страдальцам дух отваги?

Или от Запада, где партии шумят,
Где борются с трибун народные витии,
Где от искусства к нам несется аромат,
Где от наук целебно-жгучий яд,
Того гляди, коснется язв России?..

.....
Мне, как поэту, дела нет,
Откуда будет свет, лишь был бы это свет —
Лишь был бы он, как солнце для природы,
Животворящ для духа и свободы,
И разлагал бы все, в чем духа больше нет...

<1871>

Мой ум подавлен был тоской,
Мои глаза без слез горели;
Над озером сплетались ели,
Чернел камыш, — сквозили щели
Из мрака к свету над водой.

И много, много звезд мерцало;
Но в сердце мне ночная мгла
Холодной дрожью проникала,
Мне виделось так мало, мало
Лучей любви над бездной зла!

<1874>

Молчи, минутного покоя не тревожь!
Не говори, что — сплин!
Ведь безнаказанно и ты не доживешь
До роковых седин.
Все то, что радует тебя своим расцветом,
В тумане осени погибнет вместе с летом.

Настанут дни, когда, приятелей своих
Знакомые черты
Припоминая, ты сочтешь над прахом их
Забывшие кресты.
И будут их сердца, их суетные силы
Непужны для тебя, иль немы, как могилы.

Сойдешься ль ты опять случайно, где-нибудь,
С подругой светлых дней,
Чьи взгляды жгут тебя, чья молодая грудь
Блаженных ждет ночей, —
Морщины встретишь ты да высохшие плечи,
В глазах — тупой вопрос, в устах — пустые речи.

Сойдешься ль с юношей, который, в цвете сил,
Исполненный надежд,
Был благородно смел, так счастлив, что прослыл
Бойцом среди невежд, —
И встретишь, может быть, ханжу иль бюрократа,
Которому одно начальство только свято.

Ребенка ль милого захочешь встретить ты,
Которого ласкал,
Который матери прелестные черты
Тебе напоминал, —
И встретишь взрослого болвана, или злого
Лыстеца-предателя, душе твоей чужого.

Надежда ль на успех волнует грудь твою —
Или, стремясь вперед,
Ты, как за кровную, всем общую семью,
Хлопочешь за народ, —
И вдруг увидишь: все, что ныне к свету рвется,
Попятится назад, простынет иль уймется.

А сколько злых измен, вражды, насмешек, слез
Ты встретишь? Не сочтешь!..
Нет, безнаказанно, брат, до седых волос
И ты не доживешь.
Путь долгой жизни есть путь к жизни
Безнадежной —
Таков закон судьбы...
Ужели неизбежный?

<1874>

ИЗ БУРДНЛЪЕНА

„The night has a thousand eyes“^{1*}

Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним;
Но солнца нет — и по земле
Тьма стелется, как дым.

Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним;
Но нет любви — и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.

<1874>

1 «Ночь смотрит тысячами глаз» (англ.). — Ред.

КАЗИМИР ВЕЛИКИЙ

(Посв. памяти А. Ф. Гильфердинга) 1

I

В расписных санях, ковром покрытых,
Нараспашку, в бурке боевой,
Казимир, круль польский, мчится в Краков
С молодой, веселою женой.

К ночи он домой спешит с охоты;
Позвонки брепчат на комутах;
Вперед, на всем скаку, не видно,
Кто трубит, вздымая снежный прах;

1 Стихотворение «Казимир Великий» было задумано мною в 1871 году. Покойный А. Ф. Гильфердинг просил меня написать его для второго литературного вечера в пользу Славянского комитета. — Тема для стихов была выбрана самим Гильфердингом, им же были присланы мне и материалы, — выписки из Польского летописца Длугоша, с следующей в конце припискою: «Раздача хлеба в пору голода у летописца рассказана без всякой связи с другими фактами из жизни Казимира, потому что тут у вас carte blanche...». — Стихи были набросаны, когда я узнал, что литературный вечер с живыми картинами в пользу Славянского комитета не состоялся и отложен на неопределенное время. — Затем умер и наш многоуважаемый ученый А. Ф. Гильфердинг, самоотверженно собирая легенды и песни того народа, изучению которого, в связи со всеми ему соотечественными народами, с любовью посвящал он всю свою жизнь.

Позади в санях несется свита...
Ясный месяц выглянул едва...
Из саней торчат собачьи морды,
Свесилась оленья голова...

Казимир на пир спешит с охоты;
В новом замке ждут его давно
Воеводы, шляхта, краковянки,
Музыка, и танцы, и вино.

Но не в духе круль: насунил брови,
На морозе дышит горячо.
Королева с ласкою склонилась
На его могучее плечо.

«Что с тобою, государь мой?! друг мой?
У тебя такой сердитый вид...
Или ты охотой недоволен?
Или мною? — на меня сердит?..» —

«Хороши мы! — молвил он с досадой. —
Хороши мы! Голодает край,
Хлопы мрут, — а мы и не слышали,
Что у нас в краю неурожай!..»

Погляди-ка, едет ли за нами
Тот гуслиар, что встретили мы там...
Пусть-ка он слоет магнатам нашим
То, что спяна пел он лесникам...»

Мчатся кони, резче раздается
Звук рогов и топот, — и встает
Над заснувшим Краковом зубчатой
Башни тень, с огнями у ворот.

2

В замке светят фонари и лампы;
Музыка и пир идет горой.
Казимир сидит в полукафтаны,
Подпирает бороду рукой.

Борода вперед выходит клином,
Волосы подстрижены в кружок.
Перед ним с вином стоит на блюде
В золотой оправе турий рог;

Позади — в чешуйчатых кольчугах
Стражников колеблющийся строй;
Над его бровями дума бродит,
Точно тень от тучи грозовой.

Утомилась пляской королева,
Дышит зноем молодая грудь,
Пышут щеки, светится улыбка:
«Государь мой, веселее будь!..»

Гусляра вели позвать, покуда
Гости не успели задремать». —
И к гостям идет она, и гости
«Гусляра, — кричат, — скорей позвать!»

3

Стихли трубы, бубны и цимбалы;
И, венгерским жажду утоля,
Чинно сели под столбами залы
Воеводы, гости короля.

А у ног хозяйки-королевы,
Не на табуретах и скамьях,
На ступеньках трона сели панны
С розовой усмешкой на устах.

Ждут, — и вот на праздник королевский
Сквозь толпу идет, как на базар,
В серой свитке, в обуви ремянной,
Из народа вызванный гусляр.

От него надворной веет стужей,
Искры снега тают в волосах.
И как тень лежит румянец сизый
На его обветренных щеках.

Низко перед царственной четою
Преклонясь косматой головой,
На ремнях повиснувшие гусли
Поддержал он левою рукой.

Правую подобострастно к сердцу
Он прижал, отдав поклон гостям.
«Начинай!» — и дрогнувшие пальцы
Звонко пробежали по струнам.

Подмигнул король своей супруге,
Гости брови подняли: гусяр
Затянул про славные походы
На соседей, немцев и татар...

Не успел он кончить этой песни —
Крики «Vivat!»¹ огласили зал;
Только круль махнул рукой, нахмурясь:
Дескать, песни эти я слышал!

«Пой другую!» — и, потупив очи,
Прославлять стал молодой невец
Молодость и чары королевы
И любовь — щедрот ее венец.

Не успел он кончить этой песни —
Крики «Vivat!» огласили зал;
Только круль сердито сдвинул брови:
Дескать, песни эти я слышал!

«Каждый шляхтич, — молвил он, — поет»¹¹
На ухо возлюбленной своей;
Спой мне песню ту, что пел ты в хате
Лесника, — та будет поновой...

Да не бойся!
Но гусяр, как будто
К пытке присужденный, побледнел...
И, как пленник, дико озираясь,
Заунывным голосом запел:

¹ Да здравствует (латинск.). — Ред.

«Ох, вы хлопы, ой, вы божья люди!
Не враги трубят в победный рог,
По пустым полям шагает голод
И кого ни встретит — валит с ног.

Продает за пуд муки корову,
Продает последнего конька.
Ой, не плачь, родная, по ребенке!
Грудь твоя давно без молока.

Ой, не плачь ты, хлопец, по дивчине!
По весне авось помрешь и ты...
Уж растут, должно быть к урожаю,
На кладбищах новые кресты...

Уж на хлеб, должно быть к урожаю,
Цены что ни день растут, растут.
Только паны потирают руки —
Выгодно свой хлебец продают».

Не успел он кончить этой песни:
«Правда ли?!» — вдруг вскрикнул
Казимир
И привстал, и в гневе, весь багровый,
Озирает онемевший пир.

Поднялись, дрожат, бледнеют гости.
«Что же вы не славите певца?!
Божья правда шла с ним из народа
И дошла до нашего лица...

Эта ночь не прячет ли их раньше,
Чем моя могила спрячет их!

С этой жаждой, что воды не просит,
И которой не залить вином,
Для себя — я дух, стремлений полный,
Для других — я червь на дне морском.

Духа титанические стоны
Слышит ли во мраке кто-нибудь?
Знает ли хоть кто-нибудь на свете,
Отчего так трудно дышит грудь!

Между мной и целою вселенной
Ночь, как море темное, кругом.
И уж если бог меня не слышит —
В эту ночь я — червь на дне морском!

1874

ДИССОНАНС

(Мотив из признаний Ады Кристен)

Пусть по воле судеб я рассталась с тобой, —
Пусть другой обладает моей красотой!

Из объятий его, из ночной духоты,
Уношусь я далёко на крыльях мечты.

Вижу снова наш старый, запущенный сад:
Отраженный в пруде потухает закат,

Пахнет липовым цветом в прохладе аллеи;
За прудом, где-то в роще, урчит соловей...

Я стеклянную дверь отворила — дрожу —
Я из мрака в таинственный сумрак гляжу —

Чу! там хрустнула ветка — не ты ли шагнул?!
Встрепенулася птичка — не ты ли спугнул?!

Я прислушиваюсь, я мучительно жду,
Я на шелест шагов твоих тихо иду —

Холодит мои члены то страсть, то испуг —
Это ты меня за руку взял, милый друг?!

СЛЕПОЙ ТАПЕР

Хозяйка руки жмет богатым игрокам,
При свете ламп на ней сверкают бриллианты...
В урочный час, на бал, спешат к ее сениям
Франтихи-барыни и франты.

Улыбкам счету нет. Один тапер слепой,
Рекомендованный женой официанта,
В парадном галстуке, с понурой головой,
Угрюм и не похож на франта.

И под локоть слепца сажают за рояль...
Он поднял голову — и вот, едва коснулся
Упругих клавишей, едва нажал педаль —
Гремя, бог музыки проснулся.

Струн металлических звучит высокий строй,
Как вихрь несется вальс — побрякивают шпоры.
Шуршат подола дам, мелькают их узоры
И ароматный веет зной...

А он — потухшими глазами смотрит в стену,
Не слышит говора, не видит голых плеч —
Лишь звуки, что бегут одни другим на смену,
Сердечную ведут с ним речь.

На бедного слепца слетает вдохновенье,
И грезит скорбная душа его — к нему
Из вечной тьмы плывет и светится сквозь тьму
Одно любимое виденье.

Восторг томит его — мечта волнует кровь:
Вот жаркий летний день — вот кудри золотые —
И полудетские уста, еще немые,
С одним намеком на любовь...

Вот ночь волшебная, — шушукуют березы —
Прошла по саду тень — и к милому лицу
Прильнул свет месяца — горят глаза и слезы...
И вот уж кажется слепцу:

Похолодевшие, трепещущие руки,
Белеясь, тянутся к нему из темноты —
И соловьи поют — и сладостные звуки
Благоухают, как цветы...

Так образ девушки, когда-то им любимой,
Ослепнув, в памяти свежо сберечь он мог;
Тот образ для него расцвел и — не поблек,
Уже ничем не заменимый.

Еще не знает он, не чувствует он, что та
Подруга юности — давно хозяйка дома
Великосветская — изнежена, пуста
И с аферистами знакома!

Что от него она в пяти шагах стоит
И никогда в слепом тапере не узнает
Того, кто вечною любовью к ней пылает,
С ее прошедшим говорит.

Что, если б он прозрел, что, если бы, друг
в друга
Вглядясь, они могли с усилием узнать —
Он побледнел бы от смертельного испуга,
Она бы — стала хохотать!

<1876>

В ТЕЛЕГЕ ЖИЗНИ

С утра садимся мы в телегу...

Пушкин

К моей телеге я привык,
Мне и ухабы нипочем...
Я только дрогну, как старик,
В холодном воздухе ночном...
Порой задумчиво молчу,
Порой отчаянно кричу:
«Пошел!.. Валяй по всем по трем».

Но хоть кричи, бранись иль плачь —
Молчит, упрямя ящик седой:
Слегка подстегивая кляч,
Он ровной гонит их рысцой;
И шлепает под ними грязь,
И, незаметно шевелясь,
Они бегут во тьме ночной.

<1877>

УЗНИЦА

Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь!

Спать не дает, оттого что мне грезится
Молодость в душной тюрьме,
Вижу я — своды... окно за решеткою,
Койку в сырой полутьме...

С койки глядят лихорадочно-знойные
Очи без мысли и слез.
С койки висят чуть не до полу темные
Космы тяжелых волос.

Не шевелятся ни губы, ни бледные
Руки на бледной груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета
И без надежд впереди...

Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее образ страдальческий
Спать не дает мне всю ночь!

1878 или начало 1879

ОПАСЕНИЕ

На праздник ты одна ушла, друг милый мой,
Без горничной, без провожатых,
Ушла — порадовать своею красотой
Людей беспечных и богатых.

Уж поздно... тьма кругом... и напряжен мой
слух,

И ум мой полон смутных бредней:
Не твой ли шорох там, где газ давно потух?
Чу! что-то звякнуло в передней!..

Уж поздно; я не сплю — клянусь, не оттого,
Что горячо тебя люблю я
И что не мог бы я заснуть без твоего
Рассказа или поцелуя...

Нет, не из ревности я не смыкаю глаз
И жду тебя не как влюбленный:
Я праздника боюсь — мне страшен поздний час
И этот город полусонный.

Здесь каждый ждет беды, здесь каждый запер
дверь,

Здесь невидимкой между нами
Блуждает нищета, косматая, как зверь,
Дрожит и шарит за дверями.

Быть может, тень ее завистливо глядит
На яркий свет тех самых окон,
Где под напев смычка нога твоя скользит,
Где вьется твой летучий локон.

Ты не нуждаешься благодаря трудам, —
Но для нее и ты богата;
И то, что любишь ты, и то, что свято нам,
Для голодающих не саято...

.....
О, я б не ждал тебя с тревогой и тоской,
Об этом не было б и речи,
Когда б у каждого, в семье его родной,
Горели праздничные свечи!

<1879>

И. А. ГРИБОЕДОВА

1

Не князь, красавец молодой,
Внук иверских царей,
Был сокровенною мечтой
Ее цветущих дней.
Не вожь грузинских удалцов —
Гроза соседних гор —
Признаьем вынудил ее
Потупить ясный взор.
Не там, где слышат валуны
Плеск Алазанских струй,¹
Впервые прозвучал ее
Заветный поцелуй.
Нет, зацвела ее любовь
И расцвела печаль
В том жарком городе, где нам
Прошедшего не жаль...
Где грезится сааидарам
Святая старина,
Где часто музыка слышна
И веют знамена.

¹ Алазань — река в Кахетии.

В Тифлисе я ее встречал...
 Вникал в ее черты:
 То — тень весны была, в тени
 Осенней красоты.
 Не весела и не грустна, —
 Где б ни была она,
 Повсюду на ее лице
 Царила тишина.
 Ни пышный блеск, ни резвый шум
 Полуночных балов,
 Ни барабанный бой, ни вой
 Охотничьих рогов,
 Ни смех пустой, ни приговор
 Коварной клеветы, —
 Ничто не возмущало в ней
 Таинственной мечты;
 Как будто слава, отражаясь
 На ней своим лучом,
 В ней берегла покой души
 И грезы о былом,
 Или о том, кто, силу зла
 Изведав, завещал
 Ей всепрощающую скорбь
 И веру в идеал...

Я помню час, когда вдали
 Вершин седые льды
 Румянцем вспыхнули и тень
 С холмов сошла в сады,

Когда Метех¹ с своей скалой
 Стоял как бы в дыму
 И уходил сионский крест²
 В ночную полутьму.
 Она сидела на крыльце
 С поникшей головой,
 И, помню, кроткий взор ее
 Увлажен был слезой.
 О незабвенной старине
 Намек нескромный мой
 Смущил ее больной души
 Таинственный покой.
 И мне казалось, в этот миг
 Я у нее в глазах
 Прочел ту повесть — что прошла
 Тайком в ее мечтах:

.

«Он русским послан был царем,
 В Иран держал свой путь
 И на пути заехал к нам
 Душою отдохнуть.
 Желанный гость — он принят был
 Как друг моим отцом;

¹ Замок и острог в Тифлисе.

² Крест Сионского собора, самой большой церкви в Тифлисе.

Не в первый раз входил он к нам
В гостеприимный дом;
Но не был весел он в тени
Развесистых чинар,
Где на коврах не раз нам пел
Заезжий сазандар;
Где наше пенилось вино,
Дымился наш кальян,
И улыбалась жизнь гостям
Сквозь радужный туман;
И был задумчив он, когда,
Как бы сквозь тихий сон,
Пронизывался лунный свет
На темный наш балкон;
Его горячая душа,
Его могучий ум
Влачили всюду за собой
Груз неотвязных дум.
Напрасно Север ледяной
Рукоплескал ему,
Он там оставил за собой
Бездушную зиму;
Он там холодные сердца
Оставил за собой,
Лишь я одна могла ему
Откликнуться душой...
Он так давно меня любил,
И так был рад, так рад,
Когда вдруг понял, отчего
Туманится мой взгляд...

И скоро перед алтарем
Мы с ним навек сошлись...
Казалось, праздновал весь мир
И ликовал Тифлис.
Всю ночь к нам с ветром долетал
Зурны тягучий звук,
И мерный бубна стук, и гул
От хлопающих рук,
И не хотели погасать
Далекие огни,
Когда, лампаду засветив,
Остались мы одни,
И не хотела ночь унять
Далекой пляски шум,
Когда с души его больной
Скатилось бремя дум,
Чтоб не предвидел он конца
Своих блаженных дней
При виде брачного кольца
И ласковых очей.

Но час настал: посол царя
Умчался в Тегеран.
Прощай, любви моей заря!
Пал на сердце туман...
Как в темноте рассвета ждут,
Чтоб страхи разогнать,

Так я ждала его, ждала, —
Не уставала ждать...
Еще мой верующий ум
Был грезами повит,
Как вдруг... вдруг грянула молва,
Что он убит... убит!...
Что он из плена бедных жен
Хотел мужьям вернуть,
Что с изуверами в бою
Он пал, пронзенный в грудь.
Что труп его — кровавый труп —
Поруган был толпой
И что скрипучая арба
Возет его домой.¹
Все эти вести в сердце мне
Со всех сторон неслись...
Но не скрипучая арба
Ввезла его в Тифлис, —
Нет, осторожно между гор,
Ущелий и стремнин
Шесть траурных коней везли
Парадный балдахин;
Сопровождали гроб его
Лавровые венки,
И пушки жерлами назад,
И пики, и штыки;
Дымилась факелы, и гул
Колес был эхом гор,
И память вечную о нем
Пел многолюдный хор...

¹ Записки А. С. Пушкина, т. 5, стр. 76. Изд. Анненкова.

И я пошла его встречать,
И весь Тифлис со мной
К заставе эриванской шел
Растроганной толпой.
На кровлях плакали, когда
Без чувств упала я...
О, для чего пережила
Его любовь моя!

7

И положила я его
На той скале, где спит
Семья гробниц и где святой
Давид их сторожит;
Где раньше, чем заглянет к нам
В окошки алый свет,
Заря под своды алтаря
Шлет пламенный привет;
На той скале, где в бурный час
Зимой, издалека
Причалив, плачут по весне
Ночные облака;
Куда весной, по четвергам,
Бредут на ранний звон,
Тропинкой каменной, в чадрах,
Толпы грузинских жен.
Бредут, нередко в страшный зной,
Одни — просить детей,
Другие — воротить мольбой
Простывших к ним мужей...

Там, в темном гроте, — мавзолей,
И — скромный дар вдовы —
Лампадка светит в полутьме,
Чтоб прочитали вы
Ту надпись и чтоб вам она
Напомнила сама —
Два горя: горе от любви
И горе от ума».

30 января 1879

СТАРАЯ НИНЯ

Ты девчонкой крепостной
По дороге столбовой
К нам с обозом дотащилася;
Долго плакала, дичилася,
Непричесанная,
Неотесанная...

Чуть я начал подрастать,
Стали няню выбирать, —
И тебя ко мне приставили,
И обули, и наставили,
Чтоб не важничала,
Не проказничала.

Славной няней ты была,
Скоро в роль свою вошла:
Теребила меня за ворот,
Да гулять водила за город...
С горок скатывалась,
В рожь запрягивалась...

Иль, раздевшись на песке,
Ты плескалась в ручейке,
Выжимала свои косынки;

А кругом шумели сосенки,
Птички радовались...
Мы оглядывались...

Вот пришла зимы пора;
Дальше нашего двора
Не пускали нас с салазками.
Ты меня, не муча ласками,
То закутывала,
То раскутывала.

Раз, я помню, при огне
Ты чулки вязала мне
(Или платье свое штопала?).
К нам метель в окошко хлопала,
Песнь затягивала —
Сердце вздрагивало...

Ты ж другую песню мне
Напевала при огне:
«Ай, кипят котлы кипучие!...»
Помню сказки я певучие,
Сказки всяческие —
Не ребяческие...

И, побитая не раз,
Ты любила, рассердясь,
Потихоньку мне отплачивать —
Меня больно поколачивать;
Я не жаловался,
Отбояривался.

А как в школу поступил,
Я читать тебя учил:
Ты за мной твердила «Верую»...
И потом молилась с верою,
С вздыханиями,
С причитаниями.

По ночам на образа
Возводила ты глаза,
Озаренные лампадкою;
И когда с мечтою сладкою
Сон мой сплутывался,
Я закутывался...

Но пришли твои года...
Подросла ты — и тогда,
Знать, тебя цыганка сглазила:
Из окна ты ночью лазила,
Вся трепещущая,
С кем-то шепчущая...

Друг любил тебя шутя,
И, поблекнув, не цветя,
Перестала ты пошалить;
Начала свой грех замаливать;
Много маялася,
Мне же каялася!

.....
Через тридцать лет домой
Я вернулся и слепой
Уж застал тебя старушкою,

В темной кухне, с чайной кружкой —
Ты догадывалась...
Слезно радовалась.

И когда я лег вздремнуть,
Ты пришла меня разуть,
Как дитя свое любимое —
Старика, в гнездо родимое
Воротившегося,
Истомившегося.

Я измучен был, а ты
Прожила без суеты
И мятежных дум не ведала,
Капли яду не отведала —
Яду мающихся,
Сомневающихся.

И напомнила Христа
Ты страдальцу без креста,
Гражданину, сыну времени,
Посреди родного племени
Прозябающему,
Изнывающему.

Бог с тобой! я жизнь мою
Не сменяю на твою...
Но ты мне близка, безродная,
В самом рабстве благородная,
Не оплаченная
И утраченная.

<1881>

ХОЛОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Когда, заботами или злобой дня волнуем,
На твой горячий поцелуй
Не отвечаю я таким же поцелуем, —
Не упрекай и не ревнуй!

Любовь моя давно чужда мечты веселой,
Не грезит, но зато не спит,
От нужд и зол тебя спасая, как тяжелый,
Ударами избитый щит.

Не изменю тебе, как старая кольчуга
На старой рыцарской груди;
В дни непрерывных битв она вернее друга;
Но от нее тепла не жди!

Не изменю тебе; но если ты изменишь
И, оклеветанная вновь,
Поймешь, как трудно жить, ты вспомнишь,
ты оценишь
Мою холодную любовь.

<1881>

СТАРИК

Старик, он шел кряхтя, с трудом одолевая
Ступеньки лестницы крутой,
А чудо-девушка, наверх за ним взбегая,
Казалось, веяла весной.
Пронесся легкий шум шагов, и ветер складок,
И длинный локона извив...
О, как тогда себе он показался гадох,
Тяжел, ненужен и ворчлив.
Вздыхнув, поник старик, годами удрученный;
Она ж исчезла вдруг за дверью растворенной,
Как призрак, смеющийся любить,
Как призрак красоты, судьбой приговоренной
Безжалостно любимой быть.
Постой, красавица! Жизнь и тебя научит
Кряхтеть и ныть, чтоб кто-нибудь
Мог перегнуть тебя, когда тебя измучит
Крутой подъем — житейский путь!..

Май 1886

Томит предчувствием болезненный покой...
Давным-давно ко мне не приходила Муза;
К чему мне звать ее!.. К чему искать союза
Усталого ума с красавицей мечтой!
Как бесприютные, как нищие, скитались
Те песни, что от нас на божий свет рождались,
И те, которые любили им внимать,
Как отголоску их стремлений идеальных,
Дремотно ждут конца или ушли — витать
С тенями между жив и камней погребальных;
А те, что родились позднее нас, идут
За призраком давно потухшей в нас надежды:
Они для нас, а мы для них — невежды,
У них свои певцы, они свое поют...
И пусть они поют... и пусть я им внимаю
И радуюсь, что я их слезы понимаю,
И, чуя в их сердцах моей богини тень,
Молю бессмертную благословить тот день,
Когда мы на земле сошлись для песен бедных,
Не побеждаемых, хотя и не победных.

< 1885 >

ПАМЯТИ С. Я. НАДСОНА

(19 января 1857 г.)

Он вышел рано, а прощальный
Луч солнца в тучах догорал;
Казалось, факел погребальный
Ему дорогу освещал:
В темь надвигающейся ночи
Вперив задумчивые очи,
Он видел — смерть идет...

Хотел

Тревоги сердца успокоить,
И хоть не мог еще настроить
Всех струн души своей, — запел.
И был тот голос с нервной дрожью,
Как голос брата, в час глухой,
Подслушан пылкой молодежью
И чуткой женскою душой.

Без веры в плод своих стремлений,
Любя, страдая, чуть дыша,
Он жаждал светлых откровений,
И темных недоразумений
Была полна его душа.

И ум его не знал досуга:
Поэта ль, женщину иль друга
Встречал он на пути своем, —
Рой образов боролся в нем
С роями мыслей неотвязных.

Рассудку не хватало слов...
И сердце жаждало стихов,
Унылых и однообразных,
Как у пустынных берегов
Немолчный шум морских валов.
Томил недуг и — вдохновенье
Томило до изнеможенья:
Недаром, из страны в страну
Блуждая, он искал спасенья,
И, как эмблему возрожденья,
Любил цветущую весну.
Но паче всех благоуханий
И чужеземных алтарей
Поэт тревожных упований
И сокрушительных идей
Любил, среди своих блужданий,
Отчизну бедную свою:
Ее метелями обвеян,
Ее пигмеями осмеян,
Он жить хотел в ее краю.
И там, под шум родного моря,
В горах, среди цветущих вилл,
Чтоб отдохнуть от зол и горя,
Прилег — и в боге опочил.

Сли с миром, юноша-поэт!
Вкусивший по дороге краткой
Все, что любовь дает украдкой,
Отраву ласки и клевет,
Разлуки гнет, часы свиданий,
Шум славы, гром рукоплесканий,
Насмешку, холод и привет...
Сли с миром, юноша-поэт!

⟨1887⟩

ОРЕЛ И ГОЛУБКА

(Поэма Я. К. Гроту)

Вздымая волны, над заливом
Шла к ночи буря, — гром гудел...
За облака, навстречу ливня,
Орел с добычею летел:
В свое гнездо, не пнемля грому,
Крылами рассекая мглу,
Он нес в когтях своих голубку
И опустился на скалу.

За ним мерцали на закате
Вершин незлыблемых снега,
Под ним клубились тучи — пена
Посеребряла берега.
Ручьи скакали по камням,
Орлы кричали... Никому
Не откликался он и слушал,
Как жертва плакалась ему...

В его когтях, дрожа и жмурясь,
Она молила: «Отпусти...»
И вял мольбам великодушный
Орел и молвил ей: «Лети!»

И радостно, своей свободы
Почуя миг, как снежный ком,
С размаху брошенный, голубка
Рванулась вдаль, мелькнув крылом,
И полетела, закружилась,
Ища родных ей берегов,
И погрузилась в водяную
Пыль между волн и облаков,
И сделалась добычей бури —
Добыча мощного орла...
Увы, бездушная стихия
Ее молитв не приняла...

Как мотылек, дождем прибитый,
Едва мелькая в бурной мгле,
Она исчезла в серой пене
Валов, несущихся к скале;
На той скале все тот же мощный
Орел державно отдыхал,
Порой свой клюв точил, порою
Лениво крылья расправлял.

И думал он: авось под утро
Стихий уgomонится вой,
И выпрыгнет на солнце серна,
И гуси взмоют над водой...
А там, где конь пылит дорогу,
Стада потянутся в кусты...
И мне потребную добычу
Господь укажет с высоты...

1887

А. А. ФЕТ

Нет, не забуду я тот ранний огонек,
Который мы зажгли на первом перевале,
В лесу, где соловьи и пели и рыдали.
Но миновал наш май — и миновал их срок.
О, эти соловьи!.. Благословенный рок
Умчал их из страны калинника и елей
В тот теплый край, где нет простора для
метелей.

И там, где жарче юг и где светлей восток,
Где с резвой пеною и с сладостным журчаньем
По камушкам ручьи текут, а ветерок
Разносит вздохи роз, дыша благоуханьем,
Пока у нас в снегах весны простыл и след,
Там — те же соловьи и с ними тот же Фет...
Постиг он как мудрец, что если нас с годами
Влечет к зиме, то — нам к весне возврата нет.

И — улетел за соловьями.
И вот, мне чудится, наш соловей-поэт,
Любимец роз, пахучими листьями
Прикрыт, и — вечной той весне поет привет.
Он славит красоту и чары, как влюбленный
И в звезды и в грозу, что будит воздух сонный,
И в тучки сизые, и в ту немую даль,

Куда уносятся и грезы, и печаль,
И стан призраков причудливых и странных.

И вздохи роз благоуханных.

Волшебные мечты не знают наших бед:
Ни злобы дня, ни думы омраченной,
Ни ропота, ни лжи, на все ожесточенной,

Ни поражений, ни побед.

Все тот же огонек, что мы зажгли когда-то,
Не гаснет для него и в сумерках заката,
Он видит призраки ночные, что ведут
Свой шепотливый спор в лесу у перевала.
Там мириады звезд плывут без покрывала,
И те же соловьи рыдают и поют.

1 февраля 1888

ПАМЯТИ В. М. ГАРШИНА

Вот здесь сидел он у окна,
Безмолвный, сумрачный: больна
Была душа его — он жался
Как бы от холода, глядел
Рассеянно и не хотел
Мне возражать, — а я старался
Утешить гостя и не мог.

Быть может, веры в исцеленье
Он жаждал, а не утешенья;
Но где взять веры?! Слово «бог»
Мне на уста не приходило;
Молитв целительная сила
Была чужда обоим нам,
И он ко всем моим речам
Был равнодушен, как могила.

Как птица раненая, он
Приник — и уж не ждал полета;
А я сказал ему, чтоб он
Житейских дряг порвал тенета,
Чтоб он рванулся на простор —
Бежал в прохладу дальних гор,
В глушь деревень, к полям иль к морю,

Туда, где человек в борьбе
С природой смело смотрит горю
В лицо, не мысля о себе...

Он воспаленными глазами
Мне заглянул в глаза, руками
Закрыв лицо и не шутя
Заплакал горько, как дитя.
То были слезы без рыдания,
То было горе без названья,
То были вздохи без мечты —

В сетях любви и пустоты,
В когтях завистливого рока,
Он был не властен над собой;
Ни жить не мог он одиноко,
Ни заодно брести с толпой.
И думал я: «Поэт! — большое
Дитя! Ужель в судьбе твоей
Есть что-то злое, роковое,
Неодолимое! . . .»

С тех пор прошло немало дней;
Я слышал от его друзей,
Что он в далекий путь собрался
И стал заметно веселей;
Но беспощадный рок дождался
Его на лестнице крутой
И сбросил...

Странный стук раздался...
Он грохнулся и разметался,
Изломанный, полуживой, —

И огненные сновиденья
Его умчали в край иной.
Без крика и без сожаленья
Покинул он большой наш свет;
Его не восторгал он — нет! . . .
В его глазах он был теплицей,
Где гордой пальме места нет,
Где так роскошен пустоцвет,
Где пойманной, помятой птицей,
Не веря собственным крылам,
Сквозь стекла потемневших рам,
Сквозь дымку чадных испарений
Напрасно к свету рвется гений,
К полям, к дубровам, к небесам . . .

28 марта 1888

ЛЕБЕДЬ

Пел смычок — в садах горели
Огоньки — сновал народ —
Только ветер спал, да темен
 Был ночной небесный свод;

Темен был и пруд зеленый
 И густые камыши,
Где томился бедный лебедь,
 Притаюсь в ночной тиши.

Умирая, не видал он —
 Прирученный нелюдим, —
Как над ним взвилась ракета
 И рассыпалась над ним;

Не слышал, как струйка билась,
 Как журчал прибрежный ключ, —
Он глаза смыкал и грезил
 О полете выше туч:

Как в простор небес высоко
 Унесет его полет
И какую там он песню
 Вдохновенную споет!

Как на все, на все святое,
 Что таил он от людей,
Там откликнутся родные
 Стаи белых лебедей.

И уж грезит он: минута, —
 Вздых — и крылья зашумят,
И его свободной песни
 Звуки утро возвестят.

Но крыло не шевелилось,
 Песня пугалась в уме:
Без полета и без пенья
 Умирал он в полутьме.

Сквозь камыш, шурша по листьям,
 Пробирался ветерок...
А кругом в садах горели
 Огоньки и пел смычок.

12 мая 1888

В ХВОЙНОМ ЛЕСУ

Исе, как бы кадыльным дымом
Весь пропахнувший смолой,
Дышит гнилью вековую
И весною молодой.

А смолу, как слезы, точит
Сосен старая кора,
Вся в царапинах и ранах
От ножа и топора.

Смолянистым и целебным
Ароматом этих ран
Я люблю дышать всей грудью
В теплый утренний туман.

Ведь и я был также ранен —
Ранен сердцем и душой,
И дышу такой же гнилью
И такую же весной...

1888

Ф. ж. д. Райвола

У ДВЕРИ

(Посвящается А. П. Чехову)

Однажды в ночь осеннюю,
Пройдя пустынный двор,
Я на крутую лестницу
Вскарабкался, как вор.

Там дверь одну заветную
Впотьмах нащупал я
И постучался. — Милая!
Не бойся... это я...

А мгла в окно разбитое
Сползала на чердак,
И смрад стоял на лестнице,
И шевелился мрак.

— Вот-вот она откликнется,
И бледная рука
Меня обнимет трепетно
При свете ночника.

По-прежнему на грудь ко мне
Склонясь, она вздохнет,
И страстный голосок ее
Порвется и замрет...

Она — мой друг единственный,
Она — мой идеал!
И снова в дверь дощатую
Я тихо постучал.

— Прости меня,пусти меня,
Я дрогну, ангел мой!
Измучен я, истерзан я
Сомненьем и тоской.

И долго я стучался к ней —
Стучался, звал — и вдруг
За дверью подозрительный
Почудился мне стук.

Я дрогнул, и весь замер я,
Дыханье затая...
— Так вот ты как, — изменица!
Лукавая змея!

Вдвоем ты... но... безумец я!
Очнуťся мне пора...
Здесь буду ждать соперника
До позднего утра.

Все, все, чему так верил я, —
Ничтожество и ложь!
Улика будет явная —
Меня не проведешь...

Но, притаив дыхание,
Как сыщик у дверей,
Я не слышал ни шороха,
Ни скрипа, ни речей...

— О, гнусность подозрения!
Искупит ли вину
Отрадная уверенность
Застать ее одну.

И, сердцем успокоенный,
Я понял, что она
Моим же поведением
Была оскорблена.

Недаром в час свидания
У лестницы, внизу,
Подметил я в глазах ее
Обидную слезу.

Не я ль — гордец бесчувственный! —
Сознался ей, как трус.
Что я стыжусь любви моей,
Что бедности стыжусь...

Проснулась страсть мятежная,
Тоской изныла грудь;
Прости меня,пусти меня,
Слова мои забудь.

Но чу!.. Опять сомнение!..
Не ветер ли пахнул?
Не мышь ли? не соседи ли?
Нет! — Кто же так вздохнул?

Так тяжело, так мучительно
Вдыхает смерть одна —
Что, если... счёты с жизнью
Покоичила она?

Увы! Никто не учит нас
Любить и уповать;
А яд и дети малые
Умеют добывать.

Мерещился мне труп ее,
Потухшие глаза
И с горькой укоризною
Застывшая слеза.

Я плакал, я с ума сходил,
Я милой видел тень,
Холодную и бледную,
Как этот серый день.

Уже в окно разбитое
На сумрачный чердак
Глядело небо тусклое,
Рассеивая мрак.

И дождь урчал по желобу,
И ветер выл, как зверь...
Меня застали дворники
Ломившегося в дверь.

Они узнали прежнего
Жильца и, неспроста
Хихикая, сказали мне,
Что комната пуста...

С тех пор я как потерянный,
Куда ни заходил,
Все было пусто, холодно...
Чего-то — след простыл...

1888

Для сердца нежного и любящего страстно
Те поцелуй слаще всех наград,
Что с милых робких уст похищены украдкой
И потихоньку отданы назад.

Но к обладанью нас влечет слепая сила,
Наш ум мутит блаженства сладкий яд:
Слезами и тоской отравленная чаша
Из милых рук приходит к нам назад.

Не всякому дано любви хмельной напиток
Разбавить дружбы трезвою водой,
И дотянуть его до старости глубокой
С наперсницей, когда-то молодой.

1888

ЗИМОЙ, В КАРЕТЕ

Вот, на каретных стеклах, в блеске
Огней и в зареве костров,
Из бледных линий и цветов
Мороз рисует арабески.
Бегут на смену темноты
Не фонари, а пятна света;
И катится моя карета
Средь этой мглы и суеты.

Огни, дворцы, базары, лица
И небо — все заслонено...
Миражем кажется столица —
Тень сквозь узорное окно
Проносится узорной дымкой,
Клубится пар, и — мнится мне.
Я сам, как призрак, невидимкой
Уселся в тряской тишине.

Скрипят тяжелые колеса,
Теряя в мгле следы свои;
Меня везут, и — нет вопроса:
Бегут ли лошади мои.
Я сам не знаю, где я еду. —
Заботливый слуга страстей,

Я словно рад ночному бреду,
Воспоминанью давних дней.

И снится мне — в холодном свете
Еще есть теплый уголок...
Я не один в моей карете...
Вот-вот сверкнул ее зрачок...
Я весь в пару ее дыхания —
Как мне тепло назло зиме!
Как сладостно благоуханье
Весны в морозной полутьме!

Очнулся — и мечта поблёкла;
Опять, румяный от огней,
Мороз забрасывает стекла
И веет холодом. Злодей!
Он подглядел, как сердце билось:
Любовь, и страсти, и мечты,
И вздох мой — все преобразилось
В кристаллы, звезды и цветы.

Ткань ледяного их узора
Вросла в края звенящих рам,
И нет глазам моим простора,
И нет конца слепым мечтам!
Мечтать и дрогнуть не хочу я;
Но — каждый путь ведет к концу.
И скоро, скоро подкачу я
К гостеприимному крыльцу.

Январь 1889

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Вечерний звон... не жди рассвета;
Но и в туманах декабря
Порой мне шлет улыбку лета
Похолодевшая заря...

На все призывы без ответа
Уходишь ты, мой серый день!
Один закат не без привета...
И не без смысла — эта тень...

Вечерний звон — душа поэта,
Благослови ты этот звон...
Он не похож на крики света,
Спугнувшего мой лучший сон.

Вечерний звон... И в отдаленье,
Сквозь гул тревоги городской
Ты мне пророчишь вдохновенье
Или могилу и покой.

Но жизнь и смерти призрак миру
О чем-то вечном говорят,
И как ни громко пой ты, — лиру
Колокола перезвонят.

Без них, быть может, даже гений
Людьми забудется, как сон, —
И будет мир иных явлений,
Иных торжеств и похорон.

12 мая 1890

Зной — и всё в томительном покое —
В пятнах света тени спят в аллее...
Только чуткой чудится лилее,
Что гроза таится в этом зное.

Бледная, поникла у балкона —
Ждет грозы, — и грезится ей, бедной,
Что далекой бури призрак бледный
Стал темнеть в лазури небосклона...

Грезы лета кажутся ей былью, —
Гроз и бурь она еще не знает,
Ждет... зовет... и жутко замирает,
Золотой осыпанная пылью...

1890
Воробьевка

Полонский здесь не без привета
Был встречен Фетом, и пока
Старик гостил у старика,
Поэт благословлял поэта.
И, поправляя каждый стих,
Здесь молодые музы их
Уютно провели все лето.

Лето 1890

По торжищам влача тяжелый крест поэта,
У дикарей пощады не проси, —
Молчи и не зови их в скинию завета,
И с ними жертв не приноси.

Будь правды жаждущих невольным
Отголоском,
Разпузданных страстей не прославляй
И модной мишуры за золото под лоском
Блестящих рифм не выдавай.

И если чернь слепа, не жаждет и не просит,
И если свет — к злу равнодушный свет
Надменно, как трофей, свои оковы носит, —
Знай, что для них поэта нет...

<1891>

В ПОТЕМКАХ

Один проснулся я и — вслушиваюсь чутко,
Кругом бездонный мрак и — нет нигде огня.
И сердце, слышу я, стучит в виски... мне
жутко..

Что, если я ослеп! Ни зги не вижу я,
Ни окон, ни стены, ни самого себя!..
И вдруг, сквозь этот мрак глухой и безответный,
Там, где гардинами завешено окно,
С усилием разглядел я мутное пятно —
Ночного неба свет... полоской чуть заметной.
И этой малости довольно, чтоб понять,
Что я еще не слеп и что во мраке этом
Все, все пророчески полно холодным светом.
Чтоб утра теплого могли мы ожидать.

28 декабря 1892

В НОВЫЙ ДОМ

Из храма, где обряд венчальный
Связал их жребий и сердца,
В свой новый дом, с зеркальной
спальной,
Он вез ее из-под венца.

И колыхалася карета,
И жутко было им вдвоём:
Ей — в красоте полурасцвета,
Ему — с поблекнувшим лицом.

Не зимний холод — желтый глянец
Ей непривычного кольца
Сгорял пленительный румянец
С ее поникшего лица...

И колыхалася карета;
И, дар обычной суеты,
Оранжевый букет
С ней дрогли пышные цветы.

— Мечты, куда вы улетели?! —
Злой дух ей на ухо шептал...
Колеса по снегу скрипели —
И ветер след их заметал.

Метель недаром разыгралась,
Недаром меркли фонари;
Он ласки ждал — она боялась
Дожить до утренней зари.

И как надежда — как свобода
От позолоченных цепей,
Как смерть — предчувствие развода
Таилось на сердце у ней.

1893

СМЕРТЬ

А... говорят... И только слезы
Мешают им договорить,
Что безнадежен ты, страдалец,
И что тебе уже не жить...
Впервые, несомненно, правду
Почуяли твои друзья,
Что это я пришла и встала
У ног твоих, — да, это я —
Тень твоего существованья —
Стихийный мрак небытия —
Развязка лжи — конец страданья —
Твой призрак — смерть — да, это я!..
Кто б ни был ты, глупец или гений,
Все, что ты любишь, позабудь.
Я догорающее пламя
В твоей груди пришла задуть.
Не думай, не молись, не кайся,
И не желай, и не жалея,
И умирай, не сознавая,
Как меркнет свет твоих очей...

— Нет! нет! пока еще до срока —
До забытья, или пока
На грудь мне тяжело не наляжет
Твоя всевластная рука,

Я буду силиться без страха,
Дрожа, глядеть в твои глаза:
Что в них? Бездонный мрак крошечный
Иль гнева божьего гроза?
Пусть погибает мой рассудок!..
К чему он нужен там, куда
Я отхожу? — не ум, а сердце
Бойся высшего суда...
И пусть бесчувственное тело
Есть достояние твое:
Возьми его; но то, что будет
Твоим, то будет не мое...
Что ты такое? — Тень; но тенью
Была вся жизнь; и эта тень
Бежит от света — и не видит,
Как брезжит бесконечный день...
Настолько ж был я человечен
И чужд мертвящей суеты,
Что вечен я или не вечен,
Про то я знаю, а не ты,
Да, ты ужасна! Поневоле
Я содрогаюсь; но когда
В последний раз вздохну я тихо, —
Мы разойдемся навсегда...

31 июля 1896

Если б смерть была мне мать родная,
Как больное, жалкое дитя,
На ее груди заснул бы я
И, о злобах дня позабывая,
О самом себе забыл бы я.

Но она — не мать, она — чужая,
Грубо мстит тому, кто смеет жить,
Мыслить и мучительно любить,
И, покровы с вечности срывая,
Не дает нам прошлое забыть.

< 1897 >

И любя и злясь от колыбели,
Слез немало в жизни пролил я;
Где ж они — те слезы? Улетели,
Воротились к Солнцу бытия.

Чтоб найти все то, за что страдал я,
И за горькими слезами я
Полетел бы, если б только знал я,
Где оно — то Солнце бытия?..

<1898>

«ГЛАВА ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОЙ ПОЭМЫ „БРАТЬЯ“»

НОВИЗНА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Чтоб описать затеи карнавала,
Вдоль Корсо бег невзнузданных коней,
Иль женщин веющие покрывала
При зареве бесчисленных огней,
В ту ночь, когда народ снимает маски, —
Я на мою палитру мог бы краски
Займствовать у многих; я и сам,
Во дни моей весны тревожной, там
В одну неделю сотни три букетов
По окнам и балконам разбросал,
И знаю — для фантазии поэтов
Дает немало римский карнавал.

Но описать Рим, словно чародейством
В республику преображенный, Рим —
И папою и всем его лакейством
Покинутый, Рим — знаменем своим
Луи-Наполеона испугавший,
Рим — бедный, беззащитный и подививший
Вдруг три перчатки, брошенных ему
Тремя державами, Рим — никому
Без боя прав своих не уступивший, —

Где краски?! И споет ли голос мой,
Давным-давно на севере охрипший,
Тот гимн — увь! для Рима роковой...

Тот гимн, что протекал под знаменами
И заглушал гул тысячи шагов,
Звуча, как море, мерными волнами
Его поющих, страстных голосов, —
Гимн, льющийся из потрясенной груди
Взволнованной толпы, в которой люди —
Все братья, все одной родной семьи
Проснувшиеся дети, — гимн любви
Торжественной и ненависти львиной
К тому, кто ходит в стадо похищать
Овец, как волк, прикрывшийся овчиной,
Иль в пастыря переодетый тать.

Не без труда Игнат мой в Рим пробрался:
Когда же он услышал в первый раз
Народ поющий — побледнел, прижался
К чужим воротам, потекли из глаз
Невольные, неведомые слезы, —
И никакие творческие грезы
Так отозваться не могли бы в нем,
Как это пенье — этот божий гром
В устах народа. Так во храм Софии,
Когда в него язычника ввели, —
Он содрогнулся, в пеньи литургии
Почувявши спасителя земли.

Игнат мой в Риме вел себя как скромный,
Из темного угла, провинциал,

Нечаянно попавший в зал огромный
При ярком освещении на бал.
Он чувствовал неловкость положенья —
Не знал, что делать: вера, страх, сомненье,
Восторги — все перемешалось в нем.
Не мог он, забирая свой альбом
И уходя с квартиры утром рано,
Сказать, что жив воротится домой;
Везде он видел скрытого тирана,
Готового спросить: кто ты такой?

Австриец ты? поляк? иль их подобье?
Зачем приехал и куда идешь?!
Уже не раз глазами исподлобья
За ним следила чернь — как острый нож,
Ему в глаза сверкали эти взгляды,
И одинокий, часто без отрады,
Входил он в храм Петра, — и храм порой
Был так громадно пуст, глядел такой
Могилою величия, что, право,
Казалось, жизнь оцепенела там —
Орган молчал, и тенью величавой
Скользила смерть по мраморным плитам.

На лестнице, ведущей в галерею,
Сидела стража — и была пуста
Истоптанная лестница, над нею,
При входе, надпись шла: «Proprietà
Della republica». ¹ Она спасала —
Та надпись — все, что только прикрывала;

¹ Собственность республики. — *Ред.*

Дворцы Боргезе, Дориа (князей,
Из Рима убежавших) только в ней
Нашли свою защиту. Чернь щадила
Их древнее богатство — лето шло
Без грабежей: толпой руководило
Презренье к роскоши — врагам назло.

Рим беден был; но жизнь текла богато;
Игнат мой был приятно поражен
Всеобщей дешевизной — у Игната
Хозяином был гробовщик, — и он
Платил ему за комнату, за солнце
И мастерскую в месяц два червонца
(За ту же плату, он и сам не знал,
Кто без него квартиру убирал);
«С тех пор, как Пий, отец наш, уезжая
Из Рима, всех нас к дьяволу послал,
Ни одного нет в Риме негодая,
И все подешевело», — уверял

Хозяин дома; — целый день, бывало,
Он в лавочке то скоблит, то сверлит;
Но спешная работа не мешала
Ему порой принять веселый вид —
Соседа подозвать, мигнувши глазом,
Похвастаться, что он почтен заказом
Правительства, что это для него,
Гробовщика, приятнее всего, —
Уже с утра визжал его подпилок,
С утра стучал он молотом своим,
Так к вечеру немало он носилок
Сколачивал и был неутомим.

Но гробовщик ни за какую цену,
Ни для какого в свете мертвеца
Не стал бы делать гроба — за измену
Великую почел бы...

Вот жильца
Увидел он, под зонтом, в серой блузе,
И кличет: «Гей! зайдите о французе
Потолковать. — Что стали говорить
Газеты?! — О! О! надо нам спешить
С носилками. А что сказал Мащини
С трибуны — вы читали? — Я читал...
Божественно!.. Э!.. никакой Рубини
Так не споет!.. Я губы измарал

Печатными чернилами, целуя
Газету — всю ее исцеловал.
И знаете ли, что вам доложу я,
Синьор Иллючи! Я всю ночь не спал —
Все думал: для чего им нужно папство,
Когда оно и нам не нужно! Рабство
Проклятое — и больше ничего!»
А иногда Игната моего
Хозяин озадачивал: «Смотрите, —
Он говорил таинственно, — беда!
Уж лучше вы, синьор, не выходите,
Пока того... Все выезжают — да!

Недаром же все выезжают... Даже
Намедни англичане собрались...
Наш Рим теперь стоит как бы на страже...
Все ждет чего-то, — и в него сошлись
Защитники: кто на большой дороге

Разбойничал, и тот теперь в тревоге, —
Беспечно жил — теперь пришел стоять
За новые порядки. Как тут знать,
Что может быть?! Сидите лучше дома».

«Что я люблю Рим — это из альбома
Увидит всякий», — возражал Игнат.

О! я б желал достать альбом Игната...
Но как достать! Погиб он или нет?
Судьба вещей, которые когда-то
Нам были дороги (как тот портрет,
Который ваша бабушка снимала
В подарок дедушке), меня нимало
Не забавляет: то, что на столах
У вас блестит, — без вас, в чужих руках,
Утратит блеск иль в сор преобразится,
И для далекого потомства, может быть,
Из тысячи рисунков сохранится
Едва один, чтоб редкостью прослыть.

Не праздник ли? — однажды, просыпаясь,
Спросил Игнат; конечно, он спросил
Об этом у окна, со сна встречаясь
Глазами с поздним солнцем: он любил
Предупреждать зной утра; но был болен
И трусил лихорадки. С колоколен
Неслись трезвоны всех колоколов;
Казалось, сотни медных языков
Кричали: встаньте, граждане!.. спешите,
Настал великий день! — Но, может быть,

Идет процессия? — Тут, как хотите,
А надо встать, одеться и спешить.

Народ шовал — колокола звучали...
Вот увидел двух женщин паш Игнат.
В свои платки закутавшись, стояли
Они в тени, как статуи стоят;
Но не было в лице их и намека
На праздничное чувство, — нет, широко
Раскрытые глаза их ничего
Кругом не замечали — ни его,
Ни пробегающей толпы, — казалось,
Они прислушивались. Мой Игнат
Почувствовал, как в нем вдруг сердце
сжалось, —

Вдоль жаркой улицы он бросил взгляд.

Куда идти? Хоть лица женщин этих
Ему сказали: уходи домой!
Он медлил — он как бы не смел задеть их
Своим вопросом, и они с толпой
Вошли на папёрть. Нищие шептались,
Стучали фуры, лавки замирались.
Вот проскакал Россели,¹ горяча
Хлыстом коня, и поднял пыль, брянча
Прицепленную саблей; показался
Вдали отряд — он площадь проходил;
Блеск стали под лучами загорался,
Бил барабан тревогу — рог трубил;

¹ Один из римских военачальников.

Колокола по-прежнему звучали.
Но молчалив был подвижной народ,
Как будто для него часы настали
Особенных каких-нибудь забот.
Вот, с мрачным видом, взвод народной
стражи

Прошел под окнами, и бельэтажи
Раскрыли окна, — город заестрел
Цветными флагами, как бы хотел
Действительно отпраздновать бог знает
Какой счастливый день. Велик народ,
Который в день грозы не унывает! —
Пришла гроза — французы у ворот.

Грядущая империя штыками
Грозит республике — так вот зачем
Повсюду римляне идут толпами
Вооруженными, среди веющих эмблем
Своей свободы, вот зачем сверкают
У всех глаза и руки всех сжимают
Ружейные приклады; словно брат
Родной, им стал губительный булат,
Защитник сердца, родины и чести!
Вот почему, какая б ни была
Обида личная, нет личной мести,
Вот почему звонят колокола.

«К стенам, народ! к стенам, граждане!»
Команда эта мигом разнеслась,
И в мирном Риме, как в военном стане,
У каждого в груди отозвалась.
Мясник, башмачник, ювелир, факины,
Купцы, виноторговцы, веттурины,

Художники (и наш один гравер),¹
И поселяне из окрестных гор,
И слуги из гостиниц, все бросают
Обычные занятия и дела,
Идут, грозят, оружием потрясают —
Вот почему звонят колокола.

Вот папские сады лестрят стрелками,
Вот Гарибальди двинулся вперед
И на распустьях стал за воротами,
С ним красноблужники... Герой не ждет,
Спешит врага он пулями поздравить
С нашествием и не дает направить
Ему передовой свой батальон
На верх горы, откуда весь бастион
И вся почти защита Ватикана
Как на ладони. Вот ружейный дым
Зардел на солнце; из его тумана,
За куполом Петра, услышал Рим

Звук первого сраженья — рокот ружей
И пушек, эхом повторенный, гром.
И вот, на Пинчио Игнат досужий
Взбирается, идет, дыша с трудом
От тайного волнения; с напряженьем
С горы следит он взором за сраженьем.
Но где же войско? — Косвенным столбом
Завихрившись, дым пушек над холмом
Ближайшим к Риму начал расстилаться,

¹ Ф. И. Иордан.

Ружейный рокот словно замирал,
Стал уходить куда-то — стал теряться.
Что б это значило? — Никто не знал...

Кто победил? кого поколотили?
Вестей не приходило. Знойный Рим
Затих — колокола уж не звонили, —
Лишь женщины у алтарей в немых
Церквах толпой коленапреклоненной
Рыдали; воздух, солнцем накаленный,
Всех собирал под своды, и пустым,
Судя по улицам, казался Рим;
Одни ослы по площадям бродили
Без всякого надзора: за водой
Никто не шел; уединенно били
Фонтаны; час прошел — настал другой.

Шло время к ночи — Рим не шевелился.
Он словно замер — слухи до него
Не доходили, — Рим не торовился
Услышать вести, — сердце у него
Пугливо ныло за своих любимых
Гарибальдийцев, за неутомимых
Своих защитников... Никто не знал,
Что первый батальон врага попал
В засаду — пал — и кричал: пощада!
Что часть сдалась, другая с Удино
Пошла назад в Кастель де Гвидо. «Надо
Подумать — это вовсе не смешно...» —

Сказал французский вождь, воображавший,
Что римляне не смеют воевать.

И тут, скажу заранее, пославши
В Париж курьера, он решился ждать
От президента новых подкреплений;
Хотел он, чтоб победоносный генерал,
Любимый генерал Франции, у ног
Ее властителя с размаху мог
Свободную республику увидеть
В оковах по рукам и по ногам.
Кто смеет честь французскую обидеть!
Шесть тысяч отступало — по пятам

Шли сотни сорванцов. — Победа! Где вы,
Служители святого алтаря!
«Te deum» пойте! Вы, святые девы,
Поблекшие в стенах монастыря,
Страдалницы за вечное спасенье
Своей души, — несите облегченье
Страдающим за братьев! Где бинты
Для раненых, для павших — где цветы?!
И встал весь Рим, и огласились стоном
Его площадки, наперти церквей
И лестницы. — но с похоронным звоном
Сливалась музыка: среди теней,

Над трупами склоняющихся, тени
Восторженно поющих провели
Французских пленных угощать в кофейни.
Вот ночь сошла, везде огни зажгли,
Героям дня толпы рукоплескали;
С носилок раненые поднимали
Повязанные головы; на их
Померкших лицах, холодно-немых,

Сквозь выраженье нестерпимой муки
Проглядывала сила — и стонать
Они переставали, свесив руки
В надежде чью-нибудь в толпе пожать.

И было множество рукопожатий
Со всех сторон, — да, в эту ночь весь Рим
Сносил свои страдания без проклятий
И был в своей любви неистощим.
И Гарибальди имя повторялось
Впервые так, как никогда, — рождалась
Неведомая слава — для венца
Нетленного, — и братские сердца
Народа колыбель поворожденной
Поставили высоко в эту ночь,
Чтоб видел мир, неправдой возмущенный,
Италии воинственную дочь.

Растроганным пришел домой Игнатий —
С таким же чувством он пришел домой,
С каким из первых, трепетных объятий
Давно любимой девушки — иной
Бедняк иль труженик, людьми забытый,
В час ночи, месячным лучом облитый,
Один приходит к ложу своему,
И уж оно не кажется ему
Таким пустым, каким вчера казалось.
Нет! новая волшебница — мечта
С ним обнялась, тепло к нему прижалась,
И к невидимке льнут его уста...

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание объединяет избранные стихотворения Я. П. Полонского. В сборник включена также глава из незаконченной поэмы «Братья». Все тексты печатаются по первому и второму изданию Большой серии «Библиотеки поэта». Стихотворения расположены в хронологической последовательности. В тех случаях, когда дата написания неизвестна, указывается дата первой прижизненной публикации, которая заключается в угловые скобки. Примечания Полонского к своим стихотворениям печатаются непосредственно под текстом без специального указания на принадлежность их поэту.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Солнце и Месяц. В своих воспоминаниях о студенческих годах Полонский говорит: «Из числа моих стихотворений наибольший успех выпал на долю моей фантазии «Солнце и Месяц», приуроченной к детскому возрасту: его заучивали наизусть, особенно дети».

«Пришли и стали тени ночи...». Стихотворение, как вспоминает Полонский, было послано им Белинскому, который нанечатал его

в «Отечественных записках». В рецензии Некрасова на сборник стихотворений Полонского 1855 г. по поводу этого стихотворения говорится: «На днях только мы узнали, к удовольствию нашему, что стихотворение, нас поразившее, было написано Гоголем в ту тетрадь, куда автор «Мертвых душ», так зоркий в деле поэзии, вносил все произведения, особенно ему понравившиеся».

Встреча. Выражение «погибшее, но милое создание» взято у Пушкина («Пир во время чумы»).

Татарская песня. Польский поэт Тадеуш Лада-Заблочкий (1809—1847), на перевод которого указывает в своем примечании Полонский, был в 1837 г. сослан на Кавказ. В 1845 г. в Петербурге вышел большой сборник стихотворений Заблочкого. Вместе с другими сосланными на Кавказ польскими писателями Заблочкий входил в так называемую «кавказскую группу». Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — писатель.

Прогулка по Тифлису. Стихотворение адресовано брату А. С. Пушкина, Льву Сергеевичу, с которым Полонский познакомился в Одессе. *Караван-сарай* — постоянный двор для караванов в странах Передней Азии, Средней Азии и Закавказья. *Канауф* — род шелковой ткани. *Архалук* — мужское азиатское платье — халат. *Чекмень* — верхняя мужская кавказская

одежда. *Шемаханский* — от Шемахи, древнего города, который до XVII века был столицей Ширванского (Шемахинского) ханства, занимавшего большую часть территории Азербайджана.

Не жди. Стихотворение обращено к армянке Софье Гулгаз, описанной Полонским в рассказе «Тифлиские сакли».

Кахетинцу. Давид Александрович Чавчавадзе (1818—1884), родной брат Н. А. Грибоедовой, был в 1844 г. назначен командующим кахетинской конной милицией, а в 1847 г. — адъютантом наместника М. С. Воронцова.

Имеретин. *Трапезонтские* суда — т. е. суда из турецкого портового города Трапезунда (Трапезонта), расположенного на берегу Черного моря. *Янычары* — турецкие пехотинцы, составлявшие замкнутую военную касту.

Качка в бурю. Осенью 1850 г. Полонский приезжал в Одессу, где познакомился с Г. П. Данилевским. В воспоминаниях о Н. Ф. Щербине Данилевский рассказывает: «Я уехал на пароходе «Тамань» в Крым одновременно с Я. П. Полонским, который возвращался на Кавказ, где он в то время редактировал «Закавказский вестник». На пути мы вынесли сильный шквал; половину путешественников укачало. В Ялте Я. П. Полонский, остановившись в одной гостинице со мной, прочел мне и вписал каран-

дашем в мою памятную книжку новое свое стихотворение «Качка в бурю», очевидно написанное им под впечатлением перенесенного нами шквала». *Михайлов* Михаил Ларионович (1829—1865) — поэт, беллетрист и публицист, видный деятель революционного движения 60-х годов.

Тамара и певец ее Шота Руставель. В сборнике «Несколько стихотворений» Полонский сделал к этому стихотворению следующее примечание: «Некоторые из грузин уверены, что в поэме своей «Барсова кожа» Шота Руставель, под именем дочери индийского царя, Нестан-Дареджаны, воспеваает царицу Тамару. Все изустные преданья о веке Тамары единогласно подтверждают, что Шота Руставель был влюблен в знаменитую царицу. Есть еще преданье, будто Руставель был отравлен за то, что осмелился просить руки царицы в награду за стихи свои». *Иверия* — древнее название Грузии.

Кн. С. А. Г — и о й. Стихотворение обращено к Софье Андреевне Гагариной (рожденной Дашковой), жене художника Г. Г. Гагарина.

Сатар. Автор книги «Н. Ф. Тигранов и музыка Востока» Гумреци, говоря об эриванском музыканте А. С. Мелик-Агамалове, пишет: «Масса известнейших музыкантов и певцов Персии и городов Малой Азии присажали в Эривань послушать его, поиграть и попеть ему. Знаменитый, воспетый туземными и русскими поэтами, певец

Сатар месяцами гостил у Агамала». Полонский говорит о Сатаре: «Сатара можно слышать на грузинских и армянских свадьбах, куда он является в сопровождении музыкантов. Ему аккомпанируют: чунгури, бубен, тимплинто и чанури, т. е. азиатская скрипка. Его восторженно-дикие вопли, поражая слух европейца новизною, рождают в душе странное, тревожное чувство».

Саят-Нова. Об армянском поэте *Саят-Нова* (1712—1795) Полонский в 1851 г. напечатал в газете «Кавказ» статью.

Выбор уста-баша. В книге Д. Бакрадзе и Н. Берзенова «Тифлис в историческом и этнографическом отношениях» (1870) об амкарах говорится следующее: «Тифлиские ремесленники организовали из себя корпорации, известные под именем амкарств. Амкар, или хамкар — слово персидское, означающее соторговца... Во главе каждого амкарства стоит уста-баш, или начальник с своим помощником; они имеют свои сходки и значки».

Финский берег. Написано по дороге в Финляндию и Гапсаль. *Кублицкий* Михаил Егорович (1821—1875) — историк театра и музыки, близкий приятель Полонского.

Последний вывод. *А. Нов... в*, которому посвящено это стихотворение, — вероятно, А. В. Но-

васильцев, один из университетских товарищей Полонского.

Колокольчик. В «Литературных воспоминаниях» П. Перцова об этом стихотворении говорится: «Любители поэзии Полонского обыкновенно особенно выделяют среди его стихотворений «Колокольчик». Им, вероятно, будет приятно узнать, что сам поэт именно это стихотворение считал своим любимым, как мне довелось от него слышать».

У Аспазии. *Аспазия* — подруга афинского политического деятеля и вождя демократической партии Перикла (V в. до н. э.). *Цитра* — старинный струнный музыкальный инструмент. *Амфора* — сосуд, распространенный в античном мире.

На Черном море. Написано после штурма и падения Севастополя (24—27 августа 1855 г.). Упоминаемый в конце *Мадзини* (1805—1872) — вождь итальянской революции; *Наполеон* — французский император Наполеон III.

И. С. Аксакову. Написано в ответ на стихотворение славянофила И. С. Аксакова «Добро об мечтах!»

«Корабль пошел навстречу темной ночи...». *Плеяды* (Плеяды) — звездное скопление в созвездии Тельца.

«Признаться сказать, я забыл, господа...». Написано вскоре после манифеста 19 февраля 1861 г.; не было напечатано, вероятно, по цензурным причинам.

Беглый. Об этом стихотворении писал критик А. М. Скабичевский: «Возьмите, например, Полонского: он написал стихотворение «Беглый» и этим доказал, что он может писать простою народною речью... В «Беглом» неизмеримо более истинной, живой, свежей поэзии, чем во всех галлюцинациях г. Полонского, взятых вместе».

«Ползет ночная тишина...». Написано после поездки на дачу Штакеншнейдеров под Гатчиной (мыза Ивановка). *Штакеншнейдер* Елена Андреевна (1836—1897) — дочь известного петербургского архитектора, приятельница Полонского, держалась в эти годы очень радикальных взглядов. Из ее дневника видно, что Полонский приехал к ней на мызу 8 апреля 1862 г. и «привез где-то добытую новую прокламацию — Офицер». *Термус* — римское божество, блюститель границ; впоследствии изображение этого божества (в виде тумбы, оканчивающейся изваянием человеческого бюста) стало употребляться в качестве украшения парков, садов и пр.

Поэту-гражданину. Стихотворение обращено к Н. А. Некрасову.

Влюбленный месяц. *Златковский Михаил Леонтьевич* (1836—1904) — литератор, служивший в комитете иностранной цензуры.

За непогрешимость. Написано по поводу догмата папской непогрешимости, провозглашенного Прием IX и признанного на Ватиканском соборе в 1870 г.

О Н. А. Некрасове. Стихотворение написано, вероятно, в конце 60-х годов, когда Некрасову все еще не могли простить его оды М. Н. Муравьеву (1866).

Откуда?! В первых строках Полонский имеет в виду Киево-Печерский монастырь, где Нестор писал в начале XII века летопись — «Повесть временных лет». *Хитрый иезуит* — итальянский историк и публицист Николо Макнавелли (1469—1527), автор знаменитой книги «О государе». *Гус Ян* (1369—1415) — великий чешский патриот и реформатор; под «чащей» подразумевается одно из требований Гуса и его последователей — о причащении мирян под обоими видами (и хлебом и вином). *Жижка Ян* (умер в 1424 г.) — чешский полководец и политический деятель времен гуситских войн.

Из *Бурдильёна*. Полонский писал об этом стихотворении: «Стихотворение это было напечатано в английском журнале «Spectator», 1873, № 2365. В том же журнале вновь перепечатано с переводами, присланными из Франции и Герма-

нии. Затем, без подписи автора, стало появляться в американских изданиях. Я перевел их, как умел». *Бурдильён* — вероятно, F. W. Bourdillon, малоизвестный английский поэт.

Казимир Великий. Казимир III Великий (1310—1370) — польский король, сильно укрепивший внутреннее и международное положение Польши. *Гильфердинг* Александр Федорович (1831—1872) — русский славяновед, историк и собиратель былин.

Диссонанс. *Ада Кристен* — псевдоним немецкой поэтессы Христины Бреден (1844—1901).

Узница. Отклик на дело В. И. Засулич, судившейся за покушение на жизнь петербургского градоначальника Трепова (24 января 1878 г.). Суд вынес оправдательный приговор. Стихотворение было написано, очевидно, до суда.

Н. А. Грибоедова. Первоначальный набросок этого стихотворения был сделан в 1846 г., когда Полонский приехал в Тифлис и познакомился с Ниной Александровной *Грибоедовой* (1812—1857), вдовой А. С. Грибоедова, дочерью поэта Александра Чавчавадзе.

Старик П. Перцов вспоминает: «К нему <Полонскому> вела несколько крутая петербургская лестница в сотню с лишком ступеней. Даже мне, в мои тогдашние двадцать с чем-то,

было трудно ее одолевать... Без сомнения, об этой самой лестнице (он жил тут лет тридцать) он сложил свои грустно улыбающиеся строки (следует стихотворение «Старик»).

Орел и голубка. *Грот* Яков Карлович (1812—1893) — крупный ученый — филолог, академик.

Памяти В. М. Гаршина. С В. М. Гаршиным Полонский подружился в начале 80-х годов; летом 1882 г. они оба жили в имени Тургенева — Спасском.

У двери. С А. П. Чеховым Полонский познакомился в конце 1887 г. В письме к нему от 8 января 1888 г. Полонский просил у Чехова позволения посвятить ему это стихотворение: «Оно будет помещено в журнале «Север» и, как мне кажется, более всего подходит к вашим небольшим рассказам или очеркам». Чехов, в свою очередь, посвятил Полонскому рассказ «Счастье».

«Полонский здесь не без привета...». Появилось в печати в альманахе «Северные цветы» 1902 г. с примечанием: «Это стихотворение Я. П. Полонский написал карандашом на притолоке Воробьевского флигеля, где гостил у А. Фета летом 1890 года».

<Глава из незаконченной поэмы «Братья»>. Поэма «Братья» (первоначальное

заглавие — «Борьба») рассказывает о жизни русского художника Игната Илюшина в Риме во время революции 1849 г. Действие печатаемой главы происходит весной 1849 г. — после того как революционный триумvirат, во главе с Мацини, объявил Рим республикой. В итальянские дела вмешался президент Французской республики Луи-Наполеон (впоследствии император Наполеон III); в Рим были посланы французские войска под начальством генерала Удино («Пришла гроза — французы у ворот»). В главе «Новизна впечатлений» описывается первая схватка римлян с интервентами. Эта глава написана в 1869 г.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ Я. П. ПОЛОНСКОГО

Гаммы. Стихотворения Я. П. Полонского. М., 1844.

Стихотворения 1845 года. Я. П. Полонского. Одесса, 1846.

Сазандар. Стихи Я. П. Полонского. Тифлис, 1849.

Несколько стихотворений Я. П. Полонского. Тифлис, 1851.

Стихотворения Я. П. Полонского. СПб., 1855.

Стихотворения Я. П. Полонского (Дополнение к стихотворениям, изданным в 1855 г.). СПб., 1859.

Я. П. Полонский. Кузнечик-музыкант. Шутка в виде поэмы. С добавлением некоторых стихотворений за последние годы. СПб., 1863.

Оттиски. Стихотворения Я. П. Полонского. СПб., 1866.

Сочинения Я. П. Полонского, 4 тома. Изд. М. Вольфа, СПб., 1869—1870.

Снопъ. Стихи и проза Я. П. Полонского, ч. I. СПб., 1871.

Озими. Новый сборник стихов Я. П. Полонского, часть I и часть 2. СПб., 1876.

На закате. Стихотворения Я. П. Полонского 1877—1880. М., 1881.

Полное собрание сочинений Я. П. Полонского. 10 томов. Изд. Ж. А. Полонской, СПб., 1885—1886 (Стихотворения в томах I и II).

Вечерний звон. Стихи 1887—1890. Я. П. Полонского. СПб., 1890.

Лепта в пользу нуждающихся. Несколько стихотворений Я. П. Полонского, СПб., 1892.

Полное собрание стихотворений Я. П. Полонского в пяти томах. Издание, просмотренное автором. СПб., 1896.

Я. П. Полонский. Стихотворения и поэмы. Редакция и примечания Б. М. Эйхенбаума. «Советский писатель» (Большая серия «Библиотеки поэта»), 1935. 2-е издание — 1954.

СОДЕРЖАНИЕ¹

Я. П. Полонский, *Статья Б. М. Эйхенбаума* 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Жницы	47
Бэда-проповедник	48
Солнце и Месяц	50 345
Дорога	52
На могиле	54
Маска	55
«Пришли и стали тени ночи...»	57 345
Тишь	58
Узник	59
В гостиниой	61
Встреча	62 346
«Посмотри — какая мгла...»	63
Ночь в горах Шотландии	64
Лунный свет	66
«Уже над ельником из-за вершин колю- чих...»	68

¹ Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

Визов	70
Зимний путь	71
Прощай	73
«Развалину башни, жилище орла...»	74
Маяк	75
Вальс «Луч надежды»	76
Последний разговор	77
Утро	79
Грузинка	81
Затворница	82
Татарская песня	84 346
Прогулка по Тифлису	86 346
Нищий	95
Горная дорога в Грузии	96
Грузинская песня	99
Грузинская ночь	101
Татарка	103
В Имеретии	105
После праздника	107
Не жди	109 347
Кахетицу	111 347
Агбар	113
Имеретии	117 347
Ночь	120
Качка в бурю	122 347
«Не мои ли страсти...»	124
Тамара и певец ее Шота Руставель	125 348
Кн. С. А. Г — пою	128 348
В Имеретии	129
На пути из-за Кавказа	131
Сатар	134 348
Саят-Нова	135 349

Выбор уста-баша	137	349
Финский берег	140	349
Старый сазандар	143	
Весна	147	
Песня цыганки	148	
Последний вывод	150	349
Колокольчик	151	350
Смерть малютки	153	
У Аспазин	154	350
В глуши	156	
«Свет восходящих звезд — вся ночь, когда она...»	158	
Первые шаги	159	
Агарь	160	
«Нет, нет! не оттого признаем медлю я...»	163	
На Черном море	164	350
«Моя судьба, старуха, няшка злая...»	168	
Пчела	170	
Звезды	171	
«Мое сердце — родник, моя песня — волна...»	172	
«Подойди ко мне, старушка...»	173	
На пути из гостей	175	
Сны		
1. «Затворены душевные ставни...»	179	
2. «Мне снилось, легка и воздушна...»	180	
3. «Уж утро! — но, боже мой, где я?...»	181	
4. Подсолнечное царство	182	
5. Тшь и мрак	184	
И. С. Аксакову	189	350

На корабле	191	
Ночь в Крыму	192	
Холодеющая ночь	194	
На берегах Италии	197	
На Женевском озере	199	
Утрата	201	
«Корабль пошел навстречу темной ночи...»	203	350
Иная зима	204	
Сумасшедший	205	
Казачка	207	
«Когда б любовь твоя мне спутницей была...»	210	
«Признаться сказать, я забыл, гос- пода...»	211	351
Беглый	213	351
Белая ночь	215	
«Ползет ночная тишина...»	216	351
Поцелуй	219	
Старый орел	220	
«Чтобы песня моя разлилась как по- ток...»	221	
Век	222	
Что, если	223	
Последний вздох	224	
Поэту-гражданину	225	
«Любви не боялась ты, сердцем созрева- шая рано...»	227	
«Заплетя свои темные косы вендом...»	228	
«Рассказать ли тебе, как однажды...»	229	
«Время новое повесело — смотри...»	231	
«И в праздности горе, и горе в труде...»	232	

Ф. И. Тютчеву	233
Неизвестность	235
Орел и змея	237
Муза	239
Влюбленный месяц	241 352
На железной дороге	243
Миазм	246
За непогрешимость	251 352
В альбом К. Ш.	254
Полярные льды	255
О Н. А. Некрасове	256 352
Откуда?!	258 352
«Мой ум подавлен был тоской...»	260
«Молчи, минутного покоя не тревожь!»	261
Из Бурдильёна	263 352
Казимир Великий	264 353
Ночная дума	271
Диссонанс	273 353
«В дни, когда над сонным морем...»	275
Слепой тапер	276
В телеге жизни	279
Узница	280 353
Опасение	281
Н. А. Грибоедова	283 353
Старая няня	291
Холодная любовь	295
Старик	296 353
«Томит предчувствием болезненный по- кой...»	297
Памяти С. Я. Надсона	298
Орел и голубка	301 354
А. А. Фет	303

Памяти В. М. Гаршина	305 354
Лебедь	308
В хвойном лесу	310
У двери	311 354
«Для сердца нежного и любящего страстно...»	316
Зимой, в карете	317
Вечерний звон	319
«Зной, — и всё в томительном покое...»	321
«Полонский здесь не без привета...»	322 354
«По торжищам влача тяжелый крест поэта...»	323
В потемках	324
В новый дом	325
Смерть	327
«Если б смерть была мне мать родная...»	329
«И любя и злясь от колыбели...»	330
<Глава из незаконченной поэмы «Братья»>. «Новизна впечатлений»	331 354
ПРИМЕЧАНИЯ	345
Основные издания стихотворений Я. П. По- лонского	356

Редакционная коллегия:

*В. Н. Орлов (главный редактор), М. О. Ауэзов,
А. Г. Дементьев, В. П. Друзин, В. О. Перцов,
А. А. Прокофьев, Н. Ф. Рыльский, В. М. Саянов,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
И. Г. Ямпольский (зам. главного редактора)*

Полонский Яков Петрович
СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *В. С. Киселев*

Художник *Л. С. Хижинский*

Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *З. Н. Петрова*

Слано в набор 30/III 1957 г. Подписано в печать 1/VII
1957 г. Бумага 84×108/64. Печ. л. 117^{1/2} (9,38). Уч.-изд. л.
10,05. Тираж 50 000. Зак. № 321. Цена 4 р. 05 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., д. 28

Типография № 3 Управления культуры Ленгорисполкома
Ленинград, Красная ул., д. 1/3

В части тиража замечена опечатка
в списке членов редакционной коллегии
(стр. 364).

Напечатано: *Н. Ф. Рыльский*
Следует читать: *М. Ф. Рыльский.*

Я. Полонский